

Предисловіе.

I.

I

Философія трагедій! Можеть бути таке соединеніє словъ въ-
звостъ протестъ со стороны читателя, приважаго въ философію
видитъ послѣдній обобщеній головчесскаго ума, вершицу той ве-
личественной пирамиды, которая называтся современной наукой.
Онъ ба пожалуй допустилъ выраженіе „психологія трагедій“ но и то
очень неохотно и съ большими оградительными, ибо въ глубинѣ души
онъ убѣжденъ, что тамъ гдѣ происходитъ трагедія, въ сущности
должно кончатся все наши интересы. Философія-же трагедій,
не значить-ли то философія безнадѣльности, отчаянія, безумія-
даже смерти?! Можеть-ли тутъ быть рѣчь о какой ба то
ни было философіи? Намъ ушли: представте мертвыхъ королей
своихъ жертвцовъ и мы сразу попили и радостно ^{согласились} ~~приняли~~
^{приняли} ~~исполняли~~ это ученіе. Великій идеалистъ проклаю въоя, знаме-
нитой потѣ по своему пережилъ въ тѣхъ тѣхъ освободительныхъ
словахъ: und der Lebende hat recht - восклицаетъ онъ. Но мы попили
еще дальше: намъ мало было отдѣлаться отъ мертвцовъ, намъ
мало было утвердить права живыхъ. У насъ ~~еще~~ остались живые,
которые своихъ существованіемъ смущали и продолжаютъ насъ
смущать еще больше, чѣмъ погребенные, согласно ученію, мертвцовъ.

У нас остались все, не имеющие земельных наделов, все отстав-
шие, все обезумевшие от ужасов жизни. Что делать со ни-
ми? Кто возьмется на себя неготовую к тому обязанность заручить
их в землю этих?

Страшная задача — с первого взгляда кажется, что между
созданными по образу и подобию Божию не найдется ни одного,
кто иль бы достаточно жестокости и дерзости взять ее
на себя. Но это только так кажется с первого взгляда. Если на-
ходимся на земле люди, соглашающиеся ради спасения своей жизни
убить своих близких — ведь палачами большей частью были кри-
стоворенные к смертной казни или вольному заморению — то отчего
же предположить, что в этом предельной человеческой жестокос-
ти и безчувственности? Каждый раз, когда перед человеком
становится дилемма — погибни или осуди на гибель других, все
глубочайшие и таинственнейшие инстинкты его вооружаются на
защиту своего одиночества против надвигающейся опасности.
Роль палача считается позорнейшей только по недоразумению.
История духовной жизни народов, история „культуры“ говорит нам
о таких проявлениях жестокости, сравнительно с которыми то-
пость казнить на паче десяти или несколько десятков
своих близких ~~и~~ кажется казнить пустяками. Я имею
в виду отнюдь не бичевые народы — Полинезия, Аляска, Япо-
нонцы и даже не католическую инквизицию. Во этих героев
меч и дощечки ками зрелище иль орудия — ведь они не орудия,

что общего у них с философией? Иные, зреть прозе идет в
героизм духа, о проповедниках добра, истины и всего прекрас-
ного и высокого, о провозвестниках идеалов, для них порок си-
тивши их исключительно призванием и борьбу со всеми
злостями, „дурными“ проявлениями человеческой природы.
Именно и называть их буду и уместно на то они, очень
важные основания. Ибо, если уже говорить, то пришлось бы сказать
много о том, о чем до времени не хочется и помолчать.
Но, впрочем и не в имени дело, а в величии и в сущности, в рас-
суждении в моральной жизни народов — развившихся незамет-
но, исподволь, как будто без всяких усилий с одной стороны отделе-
нием личности — в рождении идеализма.

Идеализм существует уже давно, вплоть до двух тысячелетий,
но до новейшего времени роль его была относительно незначи-
тельной. Даже у самого Платона, совершенно справедливо си-
стематизированная с формальной стороны, отчасти и родоположительная
этого высокого учения, все же раз наблюдаете страстную непоколе-
блемость в логике и аргументации, объединенную единствен-
но лишь тем, что он был еще далек от той „истины“
идеалистического воззрения, до которого дошло наше время.
Именно ^{разрешения} ~~разрешения~~ ^{но} ~~разрешения~~ еще так ответственны для антрополо-
гического понимания бытия, что даже современный студент,
чуть чуть лишь посвященный в глубины нашей науки, не раз

удобнѣе въ сознаніи своего превосходства, при чтеніи его
диалоговъ. Платонъ съ нашей точки зрѣнія еще варваръ,
онъ еще не знаетъ ничего объ нашихъ объединяющихъ прин-
ципахъ: въ его драмѣ Аристотель ~~еще~~ отъключаетъ небо отъ
земли. Ипѣтъ, пасторализмъ чистый идеализмъ — есть продуктъ
послѣднихъ двухъ вѣковъ. Онъ явился одновременно съ разви-
вшейся въ наукѣ тенденціей къ „мистицистскому миропо-
ниманію“.

Современный умъ не вѣнчаетъ философію, предлагающую ему
нѣсколько основательныхъ принциповъ. Онъ стремится востановить
истину и мистицизмъ — къ объединяющему, какъ у насъ говорятъ,
вторично къ единому началу. Онъ даже съ трудомъ уже вѣн-
чаетъ дуализмъ: нести на себѣ два принципа уже ему кажется
слишкомъ большимъ бременемъ. Но онъ все-таки ищетъ себѣ
облегченія, онъ готовъ даже въ слухъ ища приютъ на вѣру
какую нибудь тонкую полупосту, лишь бы не считаться со
способностями. Душа и матерія — это такъ много; не лучше-ли
нибудя одно — либо душа, либо матерія? Или въ крайнемъ случаѣ
не лучше-ли всего признать, что душа и матерія суть раз-
стороны одной и той-же сущности? Правда, никто до сихъ поръ не
понималъ, какими образомъ душа и матерія могутъ быть
„разными сторонами“ — но въ философіи, особенно новейшей, это

далеко не единств. объясненіе, котораго никто никогда не понималъ. Даже болѣе то: тѣмъ или областями, или только они ловко и своевременно прилаживались, она крѣпче всего и держалась. Главн^{ое}~~ый~~ ~~задача была лишь в томъ, чтобы не было~~ никакихъ принциповъ !...

Въ томъ смыслѣ наиболѣе всего, конечно, удовлетворяла пантисматическую точку зрѣнія, соответствующимъ образомъ поддержанная и объясненная и ее популярная форма — материализмъ, обходящійся какъ и въ обществѣ, или иными словами и отвлеченная понятій. Но, много разноточия слова и отвлеченная понятія пугаютъ только непривычную къ слову большую публику; въ философскихъ-же сферахъ они, наоборотъ, пользуются болѣе полнымъ доверіемъ и даже имеютъ большую притягательную силу. Посвященные люди знаютъ, что съ такими трудностями легко освоиться. Лишній терминъ, новое понятие, какъ бы они ни были построены, въ концѣ концовъ, не только никому не мешаютъ, но даже въ извѣстныхъ случаяхъ даютъ выходъ изъ затруднительнаго положенія. Они же и подбираются не случайно, а систематически, въ извѣстныхъ, строго определенныхъ цѣляхъ. Мышата можетъ только „принципы“, вводящій за собой въ философію область или область новизны, не

приспособившихся к системе и дерзко требующих к себе
внимания явлений. Вот тут-то философу и необходима
вся сила убеждений, чтобы закрыть вход пазыфическому
пришельцу. Вот тут-то и нужна вся высота и непроницаемость
идеалистических ступеней, надежно ограждающих науку от жизни.
Философия хочет быть во что бы то ни стало „наукой“, такой-вот
наукой, как математика и, если того нельзя достигнуть никакими
иными путями, то во всяком случае вырывает теорию познания. Она
докажет, что не во всем можно спрашивать философию, что ее
даже и спрашивать совсем нельзя, а только можно слушать, что
она говорит. На таких условиях, только на таких условиях она со-
глашается раскрывать свои тайны жаждущим истины и, только как
до сих пор нигде было черпать истину, то в философии или,
ее слушали и вспоминали ее учения если не в тихих случаях,
когда пришлось решать какой-нибудь трудный жизненный вопрос,
то по крайней мере в тихих случаях, когда никто было ~~бессмысленно~~
своей утратой „угнет“ других.

Жестко, однако, ошибется тот, кто захочет увидеть в задаче,
поставляемой себе теорией познания только одни теоретические при-
тязания. Если бы дело обстояло так, то по всей вероятности, совре-
менное ^{мировоззрение} ~~научная теория~~ и не имело бы такого распространения, а
одной стороны - да и не встретило бы столько враждо. Никто не утвержда-
ет, что ^{да} ~~белое~~ философия есть своего рода мемуар и невольная признания

которых отъ нихъ отмазвались бы предавъ промѣтѣю и позору, никогда
не ищутъ не терпѣний, ни охоты справляться о приговорахъ, въ силу которыхъ
еще угнетенъ въ извѣстныхъ случаяхъ (и такъ часто!) утверждалось. У него заранѣе
было готово объясненіе для всѣхъ случаевъ своей неудачи: тамъ гдѣ его не
принимали, онъ утверждалъ, что паталкиволенъ на безуміе или злую
волю. Быть обзавелся историческимъ императивомъ, дававшимъ ему
право считать себя самодержавнымъ монархомъ и законно вѣдѣть въ
всѣхъ, отъ казавшихъ ему въ повиновеніи, непокорныхъ бунтовщиковъ,
заслуживающихъ пѣни и казни. Имѣя утонченную жестокость
проявлялъ историческій императивъ каждой разѣ когда нарушались
его требованія! Для тѣхъ Титовъ, у которыхъ плохое воображеніе и мало
опытъ въ тѣхъ углахъ и рекомендую перечистъ Шекспировскаго „Макбета“
быть похитить доверчивающъ людямъ, чего добивался идеализмъ и, главное
какими средствами! Можеть быть, человеческой душа и точно сли-
комъ упрямой матеріалъ, можеть быть нѣмного было порядку съ проги-
ми „бичами“ испослать бѣдующъ смертнѣи и идеализмъ. Но, вѣдѣ
тѣхъ все оди оптимистическій догадки, а съ тоюи третьи гуманныя
и строго научнаго современнаго ума — даже и не догадки, а чистѣйша
незаслуживающа^я никакой доверій мисіонѣ. Кто серіозно признаетъ,
что бичи бичуютъ не въ силу механическихъ законовъ, а ради какихъ-то
васнѣхъ цѣлей? А, если такъ — тѣ перелу удивляться, что среди и на-
тавшихъ на себя и воспитательные пріемы людей не все соглашались
цѣловать парашу рѣку.....

У нас, да не только у нас, а и во Европе (теперь во все уровни иде-
во в том странах одних и тот-же, там уровень воор в сообще-
нских соудало) давно уже художественное творчество призна-
ется считать безсознательными душевными процессами. Любопытно, эти
возрады была возмута во жизни там называлась литературная
критика. Художники подлинно сознательно думают свое дело
чуждо, что кто-нибудь или противились, объясняли, в сути по-
доплатили. Литературные критики сами приблизительно того по-
няли свою ролю и изв-а не вбивались, что-бы связать там кто-то свое
сознательное мышление с безсознательными творческими подмыва-
ми и обдумываниями художественных произведений. Иногда эта задача она
звалась гораздо более трудной, чем можно было ожидать. Ху-
дожественное произведение не вазало ни с одной из тем, были
признаками идеи, без которых невозможно было никакое
сознательное отношение к жизни. Во тем случаях, когда приходилось
иметь дело с художником второстепенным или даже бездарным,
критики не задумывались. Отсутствие идеи ставилось на счет не-
компетентности таланта, да еще более того приводилось как призна-
ком недостаточного дарования и таким образом там были бы подтвер-
ждалась "вот как истина, что поэта, сами того не подозревая,

должна преследовать тех же цели, которых ищут и критики, если только критик, чтобы их ~~исполнить~~ труд не пропадал безблагодарно. ~~Тогда же~~ в конце концов получалось, что поэтическое бессознательное творчество все же случается и должно случиться тогда же, чему случается и сознательное творчество критиков — и опасный момент проходил благополучно.

Но бывало и так, что критику попадалось в руки произведение знаменитого художника, звезда первой величины. Критик зорко рассматривал и автору и готов был предъявить по нему самую едкую и жестокую критику. Визитировать в отсутствие политическая идеала — хотя бы ему очень хотелось найти именно у этого художника поддержку своей партии. Визитировать ему, скрытое сердце, и руководящие в общественные задачи, решения которых, по его мнению, должны быть навязаны всей стране. Но он удивлялся, что найдет в новых произведениях по крайней мере несколько (бессознательно) высказанных симпатий к революционным идеалам. По крайней мере то, что хотя бы только это. ~~Все остальное критик уже сам обсуждает~~ Пусть поэты воспевают добро, истину и красоту — если это у него будет, критика побьется обо всем осужденном. Но, если и этого не будет? Если художник забудет о красоте, попытается надеть истину и преподнесет добро? Милые снам, что этого не бывает. Но я предлагаю из области отвлеченной

темных разговоров перейти на ташкентский приют. Бедня, конечно, при-
морг - Предисловіе - слишком узкая рамка, для того чтобы вместить в
себя значительный материал. Но, каюсь, что
этот приют наполнил тем, которое перестало бояться
вспоминать, и многие другие в том же роде.

Я говорю о "герое нашего времени" Лермонтова. Как известно, Бл-
жеский ^{один из романов} написал большую, очень страстную и горячую статью, ^о
~~этом романе~~, доказывавшую, что Тютчев оттого ушел из
своего родного дома, что не находил в России начала прошлого
века настоящим приложением своим громадным силам. Я не
помню, ^{только} ~~сейчас~~ написана ли эта статья по поводу первого или второго
изданий "героя нашего времени", но, так или иначе, сам Лермонтов
тоже хотел необходимым дать объяснение к своему роману, что и
сделал в предисловии к второму изданию. Предисловіе корот-
кое - меньше двух страниц. Но оно несомненно свидетельствует
об одном обстоятельстве: Лермонтов, когда хотел, умел удивительно
"сознательно" относиться к своим произведениям и проводить, идею
не хуже любого критика. К своему предисловию он прямо заявляет,
что, вопреки распространенным толкам, в Тютчеве автор вовсе
не изображал и не хотел изобразить ни себя самого и далее не
хотел вообще, а хотел лишь только представить "пороки" нашего времени.

Зачѣмъ? спросите вы. И на это есть отвѣтъ. Обществу необходимо прежде всего понять себя, дать себѣ отчетъ въ своихъ недостаткахъ. „Будетъ уже и того, кончатся онъ своею обаяніемъ, что болѣзнь уна-
заво, а какъ ее излечить — уже Богъ знаетъ.“ Какъ видите, Лермон-
товъ въ предисловіи почти сходится съ Бюленинскимъ. Петровичъ
болѣзнь и ужасная болѣзнь общества. Только въ его обаяніи нѣтъ
горячности и страсти, да обнаруживается одно странное обстоя-
тельство: болѣзнь общества его крайне интересуетъ, допотопныя же
ему почти нѣтъ, а то и прямо нѣтъ никакого дела...
Отчего же у человека, такъ улыбающагося откровенно и описателю бо-
лезни, нѣтъ никакого желанія лечитъ ее? И, вообще, отчего предис-
ловіе такъ спокойно, почти и спокойно написано?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ вы найдете въ романѣ: тамъ, со первыхъ же
страницъ вы убедитесь, что, если Петровичъ и болѣзнь, то это одна изъ
тѣхъ болѣзней, которая автору дороже всякого здоровья. Петровичъ — больной
но кто-же здоровый? Штабъ-капитанъ Максимъ Максимычъ, Трушкинъ
или съ его пріятельми или, наконецъ, если братъ въ разсѣтъ ден-
щикъ, милая княжна Мери или дикарка Бэлла? Поставьте только
такой вопросъ и вы сразу поймете, зачемъ написанъ „герой нашего
времени“, а также для чего было потомъ сочинено предисловіе. Петро-
вичъ изображенъ въ романѣ подвигателями. Среди нихъ все, разбитое
но въ остальныя действующихъ лица уничтожаются. Къ тому же, какъ
въ пушкинскомъ „Волыжѣ“ Тамбовка, которая хоть бы разъ за все

время наполнила пером, что на свете существует нечто более ^{свещен} свя-
ное, нежели он, Плеторин, воля, что есть долг, и где или где-нибудь в таком
роде. На пути своем Плеторин встречает силу и хитрость, но и ту, и
другую подвигает умом и непреклонностью своего характера. Подробно
те судит Плеторин: у него нет никаких недостатков, кроме одного -
жестокости. Внз смелъ, благороден, умен, гибок, образован, красив,
даже богат (и то - достоинство!) - а что касается жестокости, то он
хоть и знает за собой этот порок и говорит о нем ясно, но убо! -
когда столь высоко одаренный человек и проявляет какой-нибудь поро-
к, этот недостаток ему в лицу, более того - ^{накажет} по себе казает
качеством и прекрасным качеством. Сами Плеторин по поводу своей
жестокости сравнивает себя с роком! Да и что с того, если куда
разной мелюзги становится жертвой великого человека?!... Главное,
чтобы болванка была указана, а как лезет ее - Бог знает! Эта ма-
ленькая лодка, заключающая в себе короткое предисловие и длинный
роман, чрезвычайно характерна. Как ее не у одного Лермонтова най-
дем. Почти у всякого большого поэта, не исключая и Пушкина,
от времени до времени, когда описание болванки становится очень
слишком соблазнительным, она вскоре между делом вырывается
читателю, как дань, от которой не свободны и привилегированные
люди. И у Пушкина тоже: вспомните о самозванце, ^{уша} ~~мозгу~~
Пушарова во орле и воронь и отъитъ Гринева. Там, где критики
отмечают болванку, безозначательное творчество тоже видит
свое рожа непорочности, нечто такое, что и есть свои

страшная и загадочная сторона. Но критика ничего, кроме болтовни
не видит и спящий гномъ тѣмъ изнеживаетъ способъ мышленія.
Художники же объ этомъ не думаютъ и только для приличія
отыскиваютъ свое сужденіе общепринятой фразой. Изъ всего этого
слѣдуетъ, что, если уже употребить выраженіе „безсознательное
творчество“, то его слѣдуетъ отнести не къ художникамъ, а имен-
но къ критикамъ, всета стѣмляющимъ присутствіе къ изобража-
ющимъ въ поэтическомъ произведеніи жизненныхъ событій, какъ
нибудь готовыхъ, на веру принятыхъ идей. У художниковъ не было
„идей“ — это правда. Но въ этомъ и сказывается ихъ глубина — и задача
искусства отнюдь не въ томъ, чтобы покориться регламентамъ и
нормировкѣ, придумываемымъ на томъ или иномъ основаніи разо-
уми людьми, а въ томъ, чтобы порвать цѣпи, тѣмъ тѣмъ узкимъ кар-
касомъ ^{изъ} свободы творческого ума. „Господи Богъ нашъ, а не
^{ее} ~~отъ насъ~~ изъ ~~идеи~~ ~~идеи~~ ~~идеи~~ знаетъ лишь одинъ Богъ“. Первостепеннѣ-
е только форму и подѣлки словами вошедшее самую задушев-
ную и глубокую мысль Лермонтова: какъ бы ни было трудно отъ бе-
зоручиости онъ не откажетъ намъ въ жертвѣ сердца, нормѣ. Критики
точно хотятъ лѣзть. Онъ веритъ или обязанъ верить въ современ-
ные идеи — въ будущее счастье творчества, въ міръ на землѣ, въ мо-
нументъ, въ необходимость уничтоженія всего орлово питающаго
животнаго мяса, въравался изломъ Журавлева, ради сокращенія
воронки, ~~живущую~~ ^{живущую} ~~падающую~~ ^{падающую}. Одна нормальная жизнь — это „некор-
ректность“⁴ —

Ненормальность. Котъ страшное слово, которыми люди науки пуга-
ли и до сих пор продолжают пугать ^{иногда} ~~всегда~~, кто еще не отказался
отъ умирающей надежды найти въ мірѣ что нибудь иное, кромѣ ста-
тистики и „эмпирической необходимости“. Вѣрный, кто ^{настаетъ} ~~оказываетъ~~ взглянуть
на жизнь иначе, неослаби этого требуетъ современное міровоззрѣніе,
можетъ и долженъ сказать, что его захлестнѣ въ ненормальное море.
Захлестнѣ - было бы еще хуже, можетъ быть даже знакомъ отълитъ!
Весь ужасъ въ томъ, что никто, развѣ только никто изъ насъ живущихъ,
повидимому, самъ не въ силахъ даже воспринять въ мысль о возможности
иного міропониманія. Каждый разъ, когда ему приходится на умъ, что
современная истина - все же есть только истина своего времени и
что наши „убѣжденія“ могутъ быть столь-же ложны, какъ и ~~убѣжденія~~
вѣрованій самыхъ отдаленныхъ предковъ нашихъ - ему самому начина-
ется казаться, что онъ покинулъ абсолютно правильный путь и прямо
идетъ къ ненормальности. Развѣтливый притворъ тому - фраза Толстого:
Какъ несчастны, какъ противны были ему все строю современно-
му. Еще съ молодости и такъ онъ во всему, къ чему наука говорила
„да“ говорилъ „нѣтъ“, не останавливаясь даже передъ опасностью сказать пол-
ноств. Онъ готовъ былъ говорить безграмотному идиоту, глупой бабѣ, робет-
ну, ~~мизантропу~~ мизантропу въ сериалѣ, толстому купцу - только бы они говорили иначе,
чтобы люди науки. А между темъ онъ понималъ отлично, что въ глав-
номъ принялъ все, чему учитъ наука и такъ же держится „полюби-
теlemъ“ идеаловъ, какъ и былъ ~~и~~ ^и реформаторовъ во Европѣ. Онъ

христіанство єсть ідеалъ устроєнаго челоуѣчества. Вѣтъ искусства
оно требуетъ проповѣди добрыхъ чувствъ, отъ науки — совѣтовъ мудрости.
Оно не понимаетъ, зачемъ и чѣмъ тоскуютъ и страдаютъ вразитѣль
тойгайшіе отъ тѣни своихъ настроєній, ему кажутся стражками эти
~~блуждающіе ищущіе~~
~~идеи науки~~ ищущіеся по севернымъ полюсамъ или проводящіе без-
сонныя ночи въ палаткахъ въ снѣгу неба. Зачемъ все эти стремле-
нія къ неизвѣстному, неизбѣгающему? Все это бесполезно, значитъ —
непорочно. Странный призракъ, непорочно все время да-
вить и давить этотъ колоссальный умъ и заставляющій его
мириться съ посредственностью, въ себѣ самомъ искать посредственности.
Эта страна понятна: хотѣла современность и вразумила вновь идею
о рожденіи гениальности и безумія, но мы все по прежнему болѣе амерѣ
болѣе сумасшедшіе. Какое-то такое ни было рожденіе-гениальности
єсть гениальность, безуміе — безуміе. И спортъ безумный своимъ пролет-
тируетъ своимъ общественнымъ гениемъ, чѣмъ гений оправдываетъ безуміе.
Мы можемъ сомигиваться въ чѣмъ угодно — но это для насъ аксіома,
и всякого рода опять надъ собой мы кончаемъ тѣмъ, что намъ каз-
нѣтъ противъ безуміе. Сочиненія Ломброзо не освѣтили ни одного ду-
шевн. того право, который поща слепота и современная положитель-
ность существовали надъ безуміемъ. Правда, Ломброзо было неподходящи-
человѣкъ для того дела. Онъ въ концѣ концовъ эксперименталистъ и
судить только по вѣнчикамъ признакамъ отчужденія или душевн. состо-
янія. Можетъ быть результаты его изслѣданій были бы болѣе плодо-
ворны, если бы въ немъ самомъ была бы хоть одна искра чиста или не-
порока безумія. Но ни того, ни другого у него не было. Онъ даровитый

повити вистіг і толпу. Теорія не виставить телесна ^{перейти} терту, ⁹ Р
за якою єю йдець безуміє: и пр. Плотной вериши, кь полове
тільким ідеалами. Єсть область телесного духа, котрому не
виділа еще дозволень: тудя люди идуть лишь пожевои.
Іто и єсть область трагедіи. Телесно, побавшии там, наги на-
єть инакє думаніє, инакє чувствованіє, инакє желаніє. Все, чтє дорож и
близько всімь людям, станоується для него нечуждым и чуждым. Он
ещє, правда, ^{связанъ} 90 и зь котрой степені со своєю простейою жизнью. Во немь
сохранились еще кой-какія вѣрованія, кь котрымь ои причли сє
гнѣства, во немь еще отчасти жива старая опасеніє и надежда.
Могаеть бѣти не разь во нѣмь просянестись лугительное сознаниє
чужаго: своєю поведениє и стрѣтеніє вернеться нь своєю токой нѣмь
прошлому. Но „прошлого не вернемъ“. Корабли соудяся, вѣсь пѣти
назадъ заказано — нѣмь идѣть впередъ кь невѣстному и вѣко
страшному будущему. И человекъ идѣть, почти чѣмь не справляясь
отомь, чѣмь єю йдець. Ставшиє недоступными ему мѣста молодости,
накипають на зѣбѣхь ему лѣтѣхь, обманчивыми, противостѣхь всѣмь-
ми. Сѣ несправдливо и ожесточеніємь онъ справляетъ и зѣ себя все, вѣнѣхь
когда тѣ вѣрихь, чѣмь когда-тѣ любилъ. вѣмь потѣетъ разказѣть людямь
о своихь посахь надеждѣхь, но вѣмь глядѣть на него сѣ чужакомь и идущимь
ніемь. ~~В~~ ^{не} сѣ измугленными требованіи думаніи лича, вѣ сѣ востанеки, и
гнѣщихь незнакомыхь свѣтломь глазами, ~~онъ знаетъ~~ ^{онъ} — люди ~~у~~ ^у ~~желаютъ~~ ^{желаютъ}
видѣть признаніє безуміи, чѣмь бѣя пріобрѣсти право отпрѣвѣ отъ немь.
Онъ ~~не~~ ^{не} ~~хочетъ~~ ^{хочетъ} на пошѣхь все своє идеализмъ и все испуганіє тео-

рии познания, которая такъ долго давали намъ возможность жить
среди загадочной таинственности происходящихъ на насъ плазменныхъ
участковъ. Въроь помочь все идеализмъ забыть лихое, интереса его
сила и огаровости исечки и они доложень будуть уступитъ предъ
патисколичъ новаю врага? ~~Равно~~ и съ раздурраженіемъ, сипманкачъ
съ плото скрѣпою перевого они повтѣрайтъ старай вопросу: да кто-ли,
накопецъ, толкѣ все эти Достоевскій и Китице, тѣ говорятъ намъ
внѣшнѣ или вънутреннѣ? И чему они намъ учатъ?...

Но они почему намъ не „учатъ“. Кѣмъ большая заблужденія, тѣмъ
распространенно въ русской публикѣ мнѣніе, что писатель существу-
етъ для читателя. Наоборотъ — читатель существуетъ для писателя.
Достоевскій и Китице говорятъ не заботясь, чтобы распространитъ
среди людей свои убѣжденія и просвѣтитъ ближнихъ, ~~какъ это оба~~
они сами ищутъ ^{они} свѣта, и не въ рѣтъ себя, тѣмъ то, что или коверка
свѣтъ, сѣтъ точно свѣтъ, а не ^{обманчивый} блуждающій огонекъ или ~~факелъ~~
сущаго того — иллюзия или разсѣянаго воображенія. Они зовутъ
къ себѣ читателей, какъ зрителя, они отъ него хотятъ получить
своего право думать по своему, надѣяться — право существовать. идеа-
лизмъ и теорія познания прямо воплѣщаются имъ: въ безумца, въ
бессмысленнаго, пошлаго и глупаго. И они опираются на покрови-
тельную инстинкцію, въ надеждѣ, что этотъ стѣна или приговоръ
будетъ оплотнѣетъ... Можетъ быть боже и кто читатель не ко-

Уметь того знать, по созданию Достоевского и жизни зомбиго-
 ють в себя не отвѣтъ, а вопрос. Вопрос: ~~о том~~ - или ють ли ~~они~~
 надежда на люди, которые отвергнут науку и пороками т. е. воз-
 можна ли философия трагедии?

А. М.

С. Петербург
 Витязь 1904 г.

Достоевский и Китшэ

(философия трагедии)

1.

3: (м 1-20)

... Aimes-tu les damnés?

Dis-moi, connais-tu l'irrémissible?

Ch. Baudelaire.

I

„Мнѣ очень трудно было бы разсказать исторію перерожденій своихъ убѣжденій, тѣмъ болѣе что это быть можетъ и не такъ любопытно“, говоритъ Достоевскій въ своемъ дневникѣ писателя за 1873г.

Трудно-то навѣрное. Но, чтобы было любопытно- съ этимъ едва-ли кто нибудь согласится. Исторія перерожденій убѣжденій-развѣ можетъ быть во всей области литературы такая нибудь исторія, болѣе полная захватывающаго и всепоглощающаго интереса? Исторія перерожденій убѣжденій- всегда это проявленіе всего исторіи или рожденія. Убѣжденія вторично рождаются въ человѣка-на его глазахъ, въ то ^{или возрастъ,} ~~время~~ когда у него достаточно опыта и наблюдательности, чтобы сознательно слѣдить за этими великими и глубокими таинствомъ своей души. Достоевскій не былъ бы великимъ психологомъ, если бы такой процессъ могъ бы пройти для него незамеченнымъ. И онъ не былъ бы писателемъ, если бы не познакомился съ людьми своими наблюденіями. Очевидно, вторая

1) См. Достоевская, т. I стр. 342 (изданія Маркса)

половина приведенной фразы сказана такъ себя, для приличія, требую-
щего отъ писателя хотя бы вѣстнаго пренебреженія къ своей осо-
бѣ. На самомъ дѣлѣ Достоевскій слишкомъ хорошо зналъ, каково
рожающее ~~для насъ~~ ^{есть} значеніе ^{для насъ} ~~вопросъ~~ о рожденіи убій-
ственнѣ; знаетъ онъ также, что хоть сколько нибудь выяснитъ этотъ
вопросъ можно лишь однимъ путемъ: рассказавъ собственную ис-
торію. Помните слова героя записокъ изъ подполья? „О чемъ мо-
жете говорить порядочный человекъ съ наибольшимъ удовольстві-
емъ? Отвѣтъ: о себѣ. Ну, такъ я и буду говорить о себѣ“. Сочине-
нія Достоевскаго въ значительной степени осуществляютъ
эту программу. Съ годами, по мѣрѣ того, какъ зрѣетъ и раз-
вивается это дарованіе, онъ все смѣлѣе и правдивѣе говоритъ
о себѣ. Но, вѣстнѣе всего тѣмъ, до конца своей жизни онъ продол-
жаетъ всегда болѣе или менѣе прикрываться волюнтаризмомъ
и мечтами героевъ своихъ романовъ. Правда: тутъ уже дѣло идетъ
не о литературномъ или житейскомъ приличіи. Подъ конецъ в сво-
ей убѣжденности Достоевскій не боялся бы нарушить и болѣе
серіозныя требованія междучеловѣческихъ отношеній. Но ему по-
стоянно приходится говорить черезъ своихъ героевъ такіе вещи, кото-
рыя и въ его сознаніи, бытъ можетъ, не отличились бы въ столь рѣзкой
и определенной формѣ, если бы онъ не являлся ему въ обманчивыхъ
видѣ сужденій и желаній не собственнаго я, а несущегося

героя романа. Въ примѣтаніи къ „запискамъ изъ подполья“ въ
это чувствуется особенно сильно. Памъ Достоевскій настаиваетъ
на томъ, что „авторъ записокъ, какъ и сами записки вѣданы
и“ и что онъ лишь поставилъ себя задачей изобразить „одного
изъ представителей доживающаго поколѣнія“. Такого рода приема,
конечно, достигаютъ прямо противоположныхъ цѣлей. Читатель съ пер-
выхъ же страницъ убѣждается, что вѣдана не записки и ихъ ав-
торъ, а объяснительное къ нимъ примѣчаніе. И, если бы Достоевскій
въ своихъ дальнѣйшихъ произведеніяхъ держался все той-же системы
примѣчаній - его творчество не давало бы столько поводовъ къ самымъ
разнообразнымъ толкованіямъ. Но примѣчаніе для него не было лишь
нѣкой формою. Ему самому страшно было думать, что „подполье“,
которое онъ такъ ярко обрисовывалъ, было не чуждѣ, ему совѣсти
чуждое - а свое собственное, родное. Онъ самъ пытался откровенно
и ужасовъ и напрягалъ все силы души своей, чтобы закрыть отъ
нихъ хоть что-нибудь, хоть первыми попавшимися идеалами. По-
нимъ образомъ и создалъ фигуру князя Мышкина и Алехи Ка-
рамазова. Отсюда и неистовая проповѣдь, которая переполняетъ
его дневникъ писателя. Все это лишь хочетъ напомнить намъ,
что Раскольниковъ, Иванъ Карамазовъ, Кирилловъ и другіе действующіе
лица романовъ Достоевскаго говорятъ сами за себя и ничемъ
общаго съ ихъ авторомъ не имѣютъ. Все это лишь новая форма

примечаний к „Запискам из подполья“.

Къ сожалѣнiю, примечанiе на этотъ разъ такъ тѣсно сплетено съ текстомъ, что нѣтъ уже возможности чисто механически отглотить гнѣст вѣтлѣнаго переживания Достоевскаго отъ измѣнчиваго имъ „идей“. Правда, возможно до какой-то степени указать, въ какомъ направленiи сидѣтъ производѣе явленiе. Но напри-
мѣръ, весь банальности и общiя мѣста ниже напѣ не говорятъ о са-
момъ Достоевскомъ. Все это - зашествованiе. Нетрудно даже угадать ис-
точники, изъ которыхъ имъ черпалъ Достоевскiй - правду сказать довольно
щедрой рукой. Второй признакъ - формы изложения. Какъ только въ рѣчи
Достоевскаго послѣдуютъ истерики, обязательно вслѣдъ за нѣмъ, неестествен-
ный крикъ - въ съ несомнѣнною мѣстѣ заключить, что это называется
„приключенiе“. Достоевскiй уже самъ не вѣритъ своимъ словамъ и по-
тѣстѣ недостатокъ въра замѣнитъ „чувствомъ“, „распоротвiемъ“. Но
такое отглаголѣе, захлебывающееся краснорѣчiе, можетъ быть и гнѣст вѣ-
тлѣнаго не отразили на грубѣе уха. Но болѣе ^{опытному} ~~тѣмъ~~ слуху оно
говоритъ о собственъ имъ.

Само собою разумѣется, что указанные признаки далеко не даютъ матема-
тически правильнаго приѣма для разрѣшенiя занимающаго насъ вопро-
са. И съ ними остается достаточно пространства для сомнѣнiй, неясностей.
Возможно, конечно, ошибки въ установленiи отчужденныхъ мѣстъ соизвѣ-
стости Достоевскаго, даже цѣлыхъ романовъ. На что-то надрывъ въ такомъ слу-
чѣе.

речь о переоценке вещей и ценностей. В сущности оба выражения — лишь раз-
ные слова для обозначения одного и того же процесса. Если взять во вни-
мание это обстоятельство, то поясню и теперь не покажется стран-
ным, что Нитше имел такое высокое мнение о Достоевском. Вот
его подлинная слова: „Достоевский — это единственный психолог, у ко-
торого я мог бы чему научиться; знало бы и ничь я прикинул
прекраснейшим угадал мои мысли“¹⁾. Нитше признал в Досто-
евском своего родного человека.

И точно, если людей сближает, роднит не общность происхождения, не
совместное житие и сходство характеров, а одинаковость внут-
реннего опыта, то Нитше и Достоевский без преувеличения могут
быть названы братьями, даже братьями близнецами. Я думаю, что,
если бы они жили вместе, то ненавидели бы друг друга той особен-
ной ненавистью, которую стали питать один к другому Нирдалов
и Матов (в „Босах“) после своего американского путешествия,
во время которого им пришлось впрямую пролежать вместе четыре
месяца в сарае. Но Нитше узнал Достоевского только по его книгам
и тогда, когда его уже не было в живых. ~~Мертвому~~^и (можно все про-
стить — даже и то, что он знает ложь, откровенную Нирдалову и Мато-
ву в сарае. Вн — не вгадет....

Однако, Нитше ошибся. Никто в такой мере не может вгадать его, как
именно Достоевский. Правда, и обратно: много, что было только в Досто-

¹⁾ Nietzsche's Werke. II. III, 158

своимъ разъясняется сочиненіемъ Дитя. На первый разъ отъ него
было поразительное обстоятельство. Достоевскій, какъ извѣстно, любилъ
пророчествовать. Охотнее всего онъ предсказывалъ, что Россіи суждено
вернуть Европѣ забытую тамъ идею всечеловѣческаго братства. Одумавъ
изъ первыхъ русскихъ людей, приобретшихъ вліяніе на европейцевъ былъ
самъ Достоевскій. И что-жъ, прижилась его проповѣдь? О ней поговорили,
ей даже удивлялись — но ее забыли. Первый даръ, который Европа со бла-
годарностью приняла отъ Россіи была „психологія“ Достоевскаго, т.е.
подпольный человекъ, съ его разновидностями, Раскольниковами, Кара-
мазовыми, Иришловыми. Не правда-ли, какая глубокая иронія судьба?
Но судьба охотнее всего свѣтлая надъ идеалами и пророчествами смуща-
ется — и, ну, что думать, въ этомъ сказывается ее великая мудрость.

Вопросъ II

Литературная зрѣлѣлость Достоевскаго можетъ быть раздѣлена на
два періода. Первой начинается „Бродягами людьми“ и кончается „Запис-
ками изъ мѣртваго дома“. Второй начинается съ „Записокъ изъ под-
полья“ и заканчивается пушкинскою речью, т.е. практическимъ апо-
феозомъ всего творчества Достоевскаго. ^{изъ} ~~Въ~~ ^{окъ} ~~и~~ ~~записки~~ ~~изъ~~ подпольнаго че-
ловека, находящійся такимъ образомъ на рубежѣ двухъ періодовъ,
читатель вслѣдствіе и совершенно неожиданно для себя узнаетъ, что
онъ писалъ другіе романы и статьи, въ Достоевскомъ происходила
одна изъ ужаснѣйшихъ кризисовъ, которая только способна уничтожить

себя и выпестить человеческую душу. Это было тому причиной? Которая? Повидимому — нет; но крайней мере не непосредственно. После Катюши Достоевский написал целый ряд статей, в которых не только не отказывался от своих прошлых убеждений, но возвращаясь к ним с такой силой таланта и дарования, о которой он не смел и мечтать в молодые годы. Везде почти Катюши написана „Записки из мертвого дома“ — роман, который всю едиподушно, даже враги нового направления Достоевского, до сих пор восхваляют, как „особенно достойное произведение, второе, наше произведение, стоящее особо от всех прочих позднейших его романов. Здесь все целиком тот же Достоевский, первой любовью которого так горячо зачитывались в кружке Феликсского. Но „идеи“, но „убеждения“ — „Записки из ^{мертвого} ~~подполья~~ дома“ несомненно принадлежат второму ученику „нигилиста“ Виссариона, Эммануэлю-Занде и французским идеалистам первой половины истекшего столетия. Здесь то-о-о почти, что и в „Бедных людях“. Проводы, — здесь есть и кой-что новое: есть чутье действительности, готовность увидеть жизнь такой, какова она на самом деле. Но кто-то мог думать, что чутье действительности грозит хоть отчасти убеждениям и идеалам? Нет, в том числе и сам Достоевский, менее всего допускали такое предположение. Действительность, конечно, мрачна и неприглядна, особенно действительность Катюши,

и идеала ясны и светлы. Но эта противоположность, быть, и была той
почвой, на которой выросли идеалы: она не только не опровергла - она их
оправдала. Оставалось только подогнать и прищипывать действительность
до того поря пока расстояние между ней и идеалами не дойдет до безо-
чечно малой величины, до нуля. Соответственно этому и изображение
мрачной действительности преследовало одну единственную цель - борьбу
с ней и ее уничтожение в далеком, но казавшемся близком, будущем.
В этих сошлись "бедные люди" и "записки из мертвого дома" - были
из одной школы, и имели одну и ту же задачу; разница лишь в мас-
терстве автора, успевшего за 15 лет значительно усовершенствоваться
в искусстве писания. В "бедных людях", так же как в "своих
и чужих" во многом было с человеком еще, хотя и даровитым, учени-
ческим, вдохновлено поучающим великого мастера, Толстого, отве-
сткая ему Достоевский. Читая названный рассказ, вы вспоминаете,
конечно "Идиот", "записки сумасшедшего", "страшную месть" и, веро-
яно, думаете про себя, что не было нужды популяризовать. Читатель, пожа-
луй, немного потерял бы, если бы первое рассказ Достоевского навсегда
остались в голове из автора. Но писателю они нужны были. В самом
юном из Достоевских, словно предвещая свою будущую задачу, упроб-
няется в изображении мрачных и темных картин. Пока он копирует -
но придет его время, он покинет своего учителя и будет писать за
своей страной. Конечно, страшно видеть в юности пристрастие к страсти

и темным краскам,

А действитель въсь много не знает дружна. Неужели, спрашивайте въ себя, опъ не смочь идти къ свѣту, къ радости? Неужели въ ранней уже молодости опъ истинно и живо чувствовалъ въ ~~себѣ~~ ^{себѣ} потребность принести всего себя въ жертву своему дарованію? Но это — такъ: талантъ есть privilegium odiosum — онъ рѣдко ^{даетъ} ~~приноситъ~~ своему обладателю земныхъ радостей.

До сорока лѣтъ Достоевскій терпѣливо несётъ на себя бремя
своего таланта. Ему кажется, что бремя это легко, что такое из-
бавно. Съ какими восторгамъ воспоминаетъ онъ въ „униженнѣхъ и оскор-
бленнѣхъ“ о своихъ первыхъ литературныхъ опытахъ. По его словамъ,
онъ испытывалъ вообще счастье не тогда, когда произведение его было
напечатано, и не тогда даже, когда онъ впервые услышалъ о немъ
необозначимо лестное отзыва изъ устъ лучшихъ писателей и знато-
ковъ литературы того времени. Этого, счастливейшимъ часомъ
своей жизни онъ считаетъ тотъ, когда, еще никому невгодный,
онъ въ тишинѣ работалъ надъ своей рукописью, обливаясь слеза-
ми надъ вѣдомостью — надъ судьбой заглавнаго и забытаго чина-
ника, Макара Дубушкина. Я не знаю, вполне ли это ^{искренне} ~~искренно~~
Достоевскій и точно ли ^{онъ} испытывалъ наибольшее счастье тогда,
когда обливался слезами надъ вѣдомостью. Можетъ быть въ этомъ и
есть нѣкоторое преувеличеніе. Но если даже и такъ, если Достоевскій,
давая такое признаніе, только отдастъ дань господствовавшей

все время и раздвигавшей нас самым тесным зрением — тогда
 тогда его слова своей страпкостью могут и должны возбудить в нас
 тревожное и подозрительное чувство. Что это за человек, ~~что это за~~
~~люди~~, что это за люди, которые выгорают себя в обязанность
 таким безумно радоваться по поводу измаленьких или злых
 чужих несчастий Макара Дубушкина? И нам можно соблагов-
 щаться [«]счастием[»] со слезами, которыми они же сами, по их словам,
 обливаются на своих убогих ваялках? Заметьте, что, [«]уни-
 жение и оскорбление[»] написана в таком же стиле, как и
 «бедные люди». Протянутом в 15 лет несколько то «исправил»
 в том отхождении Достоевского. Прежде он обливался слезами над
 Дубушкиным, теперь — над Наташей. Это же касается восторгов твор-
 чества, то они, как известно, никогда не оставляют писателя.
 Казалось бы на первый взгляд, что ничего не может быть противоре-
 чивым и — простите слово — отвратительным, но если все эти соде-
 кания слез с восторгам. Откуда, с чего взялись восторги? Человеку
 чужего рассказа, что Макара Дубушкина или Наташу обидели, —
 истерзали, уничтожили; кажется — радоваться чему. Но он проводит
 все своими рассказами целые месяцы, года и потом публично, откровенно,
 не стеснясь, больше того — очевидно гордится, ~~что~~ ^{как} ~~завладевает~~ ^{завладевает}, что это —
 лучшие моменты его жизни. От публики, читающей такого рода про-
 изведения — требуют ~~свои~~ ^{таких же} настроений. Требуют, чтобы и они

обливается слезами, ^и ~~то~~ чтобы воплотить и то, что она не забавляла и
 радоваться. Правда, эти требования имеют свои основания. Пред-
 полагается, что таким образом пробуждаются добрые чувства:
 „сердце захватывается, познается, что самый забытый, последний че-
 ловечек есть тоже человек и называется братъ твой“¹⁾ И вот, чтобы
 распространить среди читателей эту идею, нужен особый класс лю-
 дей, которые в течении всей своей жизни занимаются главным
 образом тем, что, созерцая в своей практике всевозможные убо-
 га и уродства, существующие в таком огромном разнообразии
 на землѣ, изображаютъ или в своих книгах. Картина должна
 быть яркая, живая, захватывающая, потрясающая; она должна
 с первозодной силой ударять по сердцам. Иначе или осудятъ,
 или не произведутъ желательнаго двойства...

Оставимъ в сторону читателей и их сердца и добрые чув-
 ства. Но, каково должно быть положение писателя, взявшего на
 себя печальную обязанность будить чужую совесть изображениемъ
 разного рода убогствъ? Хорошо, если ему удастся собственную совесть
 хоть на время тоже заворобить, чтобы картина, предназначенная
 действовать на других людей, проходила безслѣдно для нея самой.
 Это будетъ, конечно, противоестественно — но, какъ мы видели, психологи-
 чески это возможно. Если Достоевскій и преувеличенно передаетъ о
 своих своих первых беседахъ съ Музой, то во всякомъ случаѣ все раз-

¹⁾ Униженные и оскорбленные, стр. 29

сказать есть и несомкнута правда. Наверное много сладких часов
прилежало ему буднично Макарь Довушкин. Молодость, неопытность,
приморье старшин, заворожено лучших людей - из таких элементов
может составиться такая чудно несообразность. Вспомните, на
какой только дала те рожались люди, когда впереди, котв издалека,
сверкает бабало предч ними въ свостъ блестящель орсонъ „идея“
Все заботилось, все прикослось ей въ жертву - не только сочинители
Макарь Довушкинъ, съ которыми еще лишь нѣсно „считается“,
какъ будто съ роднымъ и дѣйствительно существующимъ, - ~~и~~ ^а
настоящие, живые люди, даже родные, покидались, когда заходила речь
о служебнй идее. Удивительно-ли, что можно было чувствовать себя
счастливымъ, илья предч собой драматическое лицо оплохкан
ткого вика ?! Но какъ бы то ни было и что бы тамъ не было за -
мѣшало, роль изобраителя мрачной дѣйствительности тѣмъ
опаснее, истрашнее, чѣмъ искреннѣе и полнѣе ей отдаются
чѣмъ жаровитѣе человекъ, взявшій ее на себя. Понимать есть, пох
тѣрѣю, рѣвѣледіумъ одіозитъ и Достоевскій, какъ и Гоголь, рано
или поздно должны были почувствовать, какъ тяжело его брала

III

Богд.

„Понимается, что самый забытый, последний человек - есть тот же чело
векъ и называется братъ твой.“ Этими словами вполне искренно воеетъ
та идея, ради которой вступилъ впервые на литературное поприще

Достоевский. Но визной, как видите, она не блещет. Не блеснула она
тут же качеством и в то время, когда начинал писать Достоевский.
Она не лишь была впервые воздвигнута. В пятидесятых годах и до сих пор
впоследствии она властвовала над умами самых лучших русских людей.
В то время наиболее замечательным враждебным ее был Бюлиньский,
к которому она в свою очередь пришла под обаянием тогдашней
гуманности с Запада. Хотя, по своим литературным обязан-
ностям, Бюлиньский был критиком, но, по своему душевному складу,
он скорей мог бы называться проводником. И действительно,
все, наиболее крупная произведения литературы, он видел
в свете одной нравственной идеи. Его статьи о Пушкине, Гоголе,
Лермонтов и три четверти — сплошной гимн гуманности. Бюлинь-
ский стремился по крайней мере в литературе, если нельзя было тогда
сделать в жизни, достичь широких, но недоступных его влиянию, сфер
пробуждения ту торжественную декларацию прав человека, которую
в свое время произвела такой колоссальный переворот во Франции,
откуда, как известно, и приходили к нам новая идея. Вместе
с декларацией прав человека перед обществом занесена была к нам
как ее дополнение и — так думали тогда — как ее необходимое пред-
положение и идея об естественной обязанности мирового порядка.
Естественная ^{обязанность} ~~необходимость~~ ^{свое} ответственность сыграла на Западе освободительную роль. Для того чтобы развязать себе руки реформаторам

нужно было объявить все прежний общественный строй результатом
 слепой иррациональной силы. У нас, конечно, тоже на это разекитывали. Но тогда
 за истинной не умели признавать субъектное значение. Истина - прежде
 всего истина. И естественная необходимость была введена в форму на-
 правки к гуманности. Практизм обсуждения этих двух идей тогда
 никому еще не просился прямо в глаза (исключая, отчасти, самого Тьолкин-
 ского, но об этом - ниже). Кому еще не чувствовалось, что наряду с дек-
 ларацией прав человека перед обществом (гуманностью), к нам занес-
 ли и декларацию о беззаконии - перед природой. И менее всего подозре-
 вали это Достоевский. Со своим полем молодого и увлекающегося хло-
 века он набросился на новую идею. Тьолкинскую он знал еще раньше
 по его журнальным статьям. Личное же знакомство с ним случилось
 у Тьолкина Достоевского в его вверг. Впоследствии, через много лет,
 он рассказывает в дневнике писателю: „Тьолкинский меня не влюб-
 лись, но он страстно принял тогда его учение.“¹⁾ Достоевский не объясня-
 етъ подробно, отчего Тьолкинский не влюбился в него. Он ограничивается лишь
 несколькими, общими характеристиками, хотя и знаменательными словами: „он разош-
 лись от разнообразных причин - всемо, впрочем, неважно во всех отноше-
 ниях.“²⁾ Какое-то известно, и в самом деле, никакие крупные недоразу-
 мения у них не происходили. Но с другой стороны, засвидетельствовать и
 тот факт, что Достоевский никогда не чувствовал себя короче в кругу
 Тьолкинских. Это тоже все - и сам Тьолкинский - обижали. И, можно думать, эти

обиды существовали чрезвычайно сильно на уже тогда болезненно восприимчивую юношу. Он так глубоко запал в душу, что, впоследствии, через 25 лет после смерти Бюлинка, он пользуется первым случаем, чтобы расквитаться за них. Мы только-то помню „Трагедия“, из которого вся та привлекательная вещь слова Достоевского, во вступлении целый ряд ядовитых вещей, выложенных прямо в душу замечаний по адресу Бюлинскаго. Видно крепко запали старая рана, только вспомнились немощенная обида, — если можно было влить столько яду на давно уже умершего учителя.

Но Достоевский был прав. Есть вещи, которых человеку не дано прощать, а если бы и было есть обида, которую нельзя забыть. Нельзя примириться с тем, что учитель, от которого с такой радостью, так безраздельно, так безудержно приняла вору — оттолкнула тебя и насильничать над тобой. А у Достоевского с Бюлинским было именно так. Когда молодой и полный ученик являлся в гости к учителю, то он еще послуш^{но} слушал разсуждений на тему о „заблуждении“, последнем человеке — учитель играл в преферанс и вся поговорка разговора. Это было только переносит такому мяжому и вступавшему человеку, какими были в то время Достоевский. Но и Бюлинскому его ученик был в тягость. Знаете ли вы, что для многих учителей есть больший муч в мире, чем слишком вступавший и последовательный ученик? Бюлинский уже кончал литератур-

гую фронтальность, когда Достоевский только наклонял свою. Как человек, искусственный оптимист, он с лихвой глубоко чувствовал, сколько опасности кроется во всяком, трезвом, строго страстном, увлеченном идее. Он знал уже, что во глубине идеи таится неразрешимое противоречие и потому старался держаться ее поверхности. Он понимал, что естественный порядок вещей елико надее гуманности, который, в свою очередь, может лишь покорно опустить голову перед необходимыми вратами. Во всяком, конечно, знаменитом письме Бюликовского, в котором он требует отчета за „надежду брата по крови“. Это значило, что противоречие ему уже вполне выяснилось и что гуманность его больше не удовлетворяла. Достоевский же этого не понимал, не имел понятия и со своим оторванным неслыханно в своих разговорах и писаниях постоянно возвращался к „последнему человеку“. Можете себе представить, как было Бюликовскому слушать своего молодого друга — тем более, что и самому себе невольно было открыто признаться в своих чувствах и мыслях!...

В результате утраты Бюль „важных причин“ покидает учения, которому уже давно „благие люди“ подготовили и который слогующе произведение Достоевского называл „нервической чепухой“. История, как вы видите, не изъ всеобщая. Но на ловца и зверь бежит. Оба друга унесли с собой тяжелейшие воспоминания о своем кратко временном

знакомствъ. Толкинскій скоро умеръ, а Достоевскому еще болѣе при-
даться почти пришлось носить въ себѣ воспоминанія объ отвергну-
томъ его учителѣ, да биться съ тѣмъ мучительнымъ противорѣ-
чіемъ, которое осталось ему ^{въ наслѣдіе} отъ гуманности отъ неистоваго
Виссариона. Замѣчу здѣсь, что въ послѣднихъ своихъ произведе-
ніяхъ Достоевскій употребляетъ слово „гуманность“ только прописи-
ми и всегда бракъ его въ кавычки. Не думая оно, значитъ, ему стоило. Мож-
но ли ему повторить то же, когда радовался на своего Давыдовича и
обнималъ съ Толкинскими, Некрасовымъ и Григоровичемъ?
Разрывъ съ Толкинскими былъ первой пробой, которую пришлось выдер-
жать Достоевскому. Онъ выдержалъ ее съ честью. Онъ не только не
изменилъ вѣровъ, но, наоборотъ, онъ какъ будто еще строитѣе при-
саялся имъ, хотя съ самого начала у него уже было только строитѣль-
ство, что, пожалуй, естественнѣе степени зрѣлости и нечеловѣчности. Въ
раннихъ испаніяхъ былъ орестъ по дѣлу Петрашевскаго. ^{Достоевскій} До приго-
ворки къ смертной казни, которая потомъ была заменена каторгой.
Но и тутъ онъ остался твердымъ и непоколебимымъ — и не только нару-
жно. Какъ видно изъ его сочувствіямъ воспоминаній, даже въ изгнаніи
души его не было никакихъ сомнѣній. Это свидѣтельство отъ коихъ
въ 1873 году т.е. къ тому времени, когда онъ вспоминалъ о своемъ
прошломъ съ отвращеніемъ и негодованіемъ, когда онъ готовъ былъ
даже клеветать на него. Поэтому онъ имѣетъ особенную цѣн-

ность и на приведень ея въ свѣтъ лихомъ:,, Притворъ смертной казни раскрѣщеніемъ, прочтеніемъ намъ вѣсьмъ предварительну, прохтенъ бѣла въсе не въ мѣтну; почти вѣсь притворенна бѣли убога, что онъ будетъ исполненъ и вѣсели по крайней мѣрѣ десяти чѣсаканъ, безмѣрно страшиши, минутъ охидочіи смерти. Въ тѣхъ послѣднихъ минутъ нѣкоторые изъ насъ (я знаю тѣхъ положительно) инстинктивно углубляясь въ себя и провѣряя мгновѣнно всю свою, столь юную еще, физикъ-мощность бѣтъ и раскискали въ мнѣ тяжелѣе дѣланъ своихъ (изъ тѣхъ, которые у каждаго человека всю физикъ лежатъ вѣтѣнны на его совѣсти); но тѣ дѣло, за которое насъ осудили, тѣ мысли, тѣ понятія, которые владали нашими душой — представлялись намъ не только по требующимъ раскаянію, но даже чѣмъ-то насъ охидяющимъ, мученичествомъ, за которое много намъ простится! И такъ продолжалось до конца. Не годъ сепли, не страданія сложили насъ. Наоборотъ, почти не сложило насъ и наши убѣжденія лишь поддерживали наше думъ сознаніемъ исполненной догадки".¹⁾ Такъ вспоминаетъ человекъ о своемъ прошломъ черезъ четверть вѣка. Значитъ близокъ бѣла ея сердцу „послѣдній человекъ“, значитъ кровной бѣла ея связи отъ идеали Бѣлинскаго¹⁾ и распространившееся въ послѣднее время мнѣніе, что Достоевскій лишь по недоразумѣнію былъ причисленъ къ идеаламъ Бѣлинскаго изъ своихъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ уже въ ранней молодости

¹⁾ М. 9^н, стр. 342.

X
" душой принадлежать кь шому міру, лишико всякимъ основаніи. И,
для чего, кь слову спросить, понадобилось такое измѣненіе? Кь чести, что
и Достоевскаго? Но на комъ въ томъ честь? Развѣ у насъ только необходи-
мо, чтобы человекъ еще въ пеленкахъ иль въ цѣпкахъ заготовлялся
на всю жизнь "убѣжденіи"? На мой взглядъ — въ томъ необходимости
нѣтъ. Человекъ живетъ и учится у жизни. И тотъ, кто прожилъ до
старости, не увидѣлъ ничего новаго, скорѣе способенъ въ насъ
удивленіе
своей невосприимчивости удивленіе, чѣмъ внушить кь себѣ уваженіе.
Впрочемъ, и здѣсь мнѣ всего болѣе квалитъ Достоевскаго за его
восприимчивость. Вообще, здѣсь не много оцѣниваютъ его душевные
качества. Несомненно, что писатель былъ изъ ряду вонъ выдающейся
личности — по крайней мѣрѣ въ глазахъ того, кто рѣшается изу-
чать его и говорить о немъ, черезъ столько лѣтъ послѣ его смерти.
Но именно потому мнѣ всего нудно еще приписывать, присоеди-
нять ему особые душевные качества. Здѣсь болѣе чѣмъ его ба тѣ
ни было нудно уметь держатъ въ узѣхъ личной симпатіи и ан-
типатіи и не показывать почитателя своими убѣжденіями, какъ
бы благородна и возвышенна они ни были. Для насъ Достоевскій — пси-
хологическая загадка. Нойти ключъ кь ней можно только одними
способами — держась возможно строго истины и фактичности.
И, если онъ самъ откровенно засвидѣтельствовалъ фактъ "перорожде-
ній своихъ убѣжденій", то позволительно пройти молчаніемъ эти

важнѣйшее событіе его жизни изъ боязни, что оно обдастъ насъ какими либо неожиданными и непривычными вѣщами, заслуживаютъ самую суровую порицанія. Значитъ, „боязнь“ нелѣпѣнна. Или, иначе говоря, нужно пайти въ себя сила подвѣдѣтъ ея. Новалъ, впервые открывающаяся истина всегда отвратительна и безобразна, какъ новорожденный ребенокъ. Но въ такомъ случаѣ нужно отъ-вернуться отъ всей жизни, отъ всей ^{дѣятельности} ~~жизни~~ Достоевскаго, ибо ея жизнь есть небольшое и испорченное исканіе того „безобразнаго“, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь. Видно же даромъ же человекъ про-вѣлъ десятки лѣтъ въ подпольѣ и каторгѣ, видо же даромъ же сражался юности онъ не видитъ свѣта Божьяго и знаетъ лишь съ двубуквеніями, Толстотами, Католитами, Раконьниковыми, Пирамозовыми. Видно кѣмъ много пути въ истину, какъ черезъ каторгу, подземе, подполье... Но развѣ всего пути въ истину — подземе? И всякая глубина — подполье? Но о чемъ же много, если не объ этомъ, то борятъ волю сочиненій Достоевскаго?

II

Самый

По выходу изъ каторги Достоевскій тотчасъ же съ жаромъ при-нялся за писаніе. Первыми значительными плодами его новаго творчества были рассказы, Село Степанчиково и его обитатели. Въ этомъ произведеніи самый зоркій глазъ не отыщетъ и намекъ на то, что его авторъ — каторжникъ. Наоборотъ въ разсказѣхъ во

чувствуете благодушного, доброго и остроумного человека. До того
~~доброе~~ благодушного, что допускает самую либеральную развязку
запутанных обстоятельств. Дядюшка, вдоволь почесав пампуш-
ки и потерпевши от Вола Опискина и матушки-генерал-
ши, в решительную минуту проявляет бесприморную терпим-
ость и не стесняется сказать, еще более бесприморную физическую силу, Вола
Опискина от одного удара грядущими летит через закрывшую дверь
на крыльцо, а с крыльца на двор и так до тех пор терзаемый встает
„тиранка“ оказывается сразу изборозженным. Но и этого мало
Достоевскому. Ему не похотелось даже и тиранина слишком сильно
наказывать. Вола вскоре возвращается в гостеприимные Степан-
кова, почесав, почесав, не безобразничает, как прежде, потирал кепочку
пальцами окружающих ему все ^{мне} (позволяется, чтобы не слишком ему
было обидно. Все пообладало довольно и грядущая оканчивается на
Кастенью. Такого благодушного Достоевский не проявляет ни разу,
ни в одном из своих произведений — ни до, ни после каторги. В
через постига^{ет} такая потитая усталость; Они сами рождают людей
или их рождают, они сходят с ума, впадают, забываются бл-
дой иррациональностью, умирают в чужих, идут в каторгу — но того, что
произошло в семье Степанчиков, и эта глава такая есть в конце;
„Вола Волинч создает всеобщее счастье“, нигде больше в его романах
не повторялось. А заключение — только простая пастушеская идиллия...

Невольно съ удивленіем спрашиваешь себя: неужто такъ безслѣдно
прощла для человека каторга? Неужто есть такіе несправедливыя
идеалисты, которые, чѣмъ съ ними не дѣлай, продолжаютъ посылать со сво-
ими идеалами и вѣнчикъ радъ умиютъ обращать въ рай? Чего только не на-
смотрѣлся Достоевскій въ каторгу! А въ сочиненіи своемъ до того наивенъ,
что, тотъ въ тотъ какъ какой нибудь 20-лѣтній юноша утрачиваетъ еще
подъуду добра надъ зломъ... Доколы еще бить, человека?

Какъ это не странно, но по вѣдомамъ въ каторгу Достоевскій испитовалъ
лишь одно чувство и одно желаніе. Чувство свобода и желаніе забыть
всѣ вынесенныя ужасы. Это за дѣло до того, что тамъ гдѣ онъ былъ,
теперь есть кто-либо другой?! Съ него снята тѣлѣстность и онъ (снова) тор-
жествуетъ, радуется и снова просается въ объятія той женщины, которую
когда-то такъ сурово оттолкнула отъ себя. Вотъ видите, что не едно
и то же, „властель“ и „господствительность“. Надъ властелью можно обливаться
слезами и изъ Макара Довбушкина дѣлать предметъ поэзіи; но изъ
каторги надо бѣжать. Съ грустными образами фантазій можно про-
водить цѣлыя ночи напролетъ; въ томъ блаженномъ состояніи, которое
называется художественнымъ воспроизведеніемъ. Здѣсь гдѣ глубже изображена
обида, чѣмъ беззастѣсливо описано горе, гдѣ безотраднѣе прошедшее и чѣмъ
безнадежнѣе будущее - тѣмъ болѣе чести и дѣла писателю. Въодъ вѣнчанъ
похвала художнику въ словахъ: „онъ свѣтитъ и передою истинно трагическія
моменты“. Но передаватели трагическихъ моментовъ бѣгутъ гдѣ-то въ чуждой

трагедий, трагедий вояжики не меньше, чемъ въ прозе люди...

А это говорю не къ тому, чтобъ обвинять Достоевскаго. И вообще я бы очень благодаренъ читателю, если бы онъ разъ навсегда запомнилъ, что мои циты лежатъ въ области обвинений и оправданий. Это избавило бы меня отъ излишнихъ, всегда досадныхъ оговорокъ. Зрѣе разъ идетъ, хотя и по поводу Достоевскаго, но не о немъ, по крайней мѣрѣ не только о немъ. Для меня важно установить лишь ~~о~~ сльдующее несомнѣнное попореніе: Достоевскій, какъ и всякій человекъ, не хотѣлъ себя трагедіею, ^чисбго-голъ ее внешне; если-же не исбголъ, то противъ своей воли, въ силу влчущихъ, отъ него независимыхъ обстоятельствъ. Онъ все сдѣлалъ, чтобъ забыть каторгу — но каторга не забыла его. Онъ всею душой хотѣлъ примириться съ жизнью, но жизнь не захотѣла мириться съ нимъ. Это видно не только изъ повѣсти, о которой шла рѣчь ваша, — это сказалося во всемъ, что онъ писалъ въ первое года повлоръ изъ каторги. Изъ свѣдѣннблага опыта онъ вынесъ лишь сознаніе, что нетъ на землѣ великихъ ужасовъ и глубочайшихъ трагедій и — для писателя это немалого — что отъ этихъ ужасовъ нѣтъ спасенія никому, кто можетъ. Этого въ тогѣ, какъ онъ идуцтъ по дну корабля: *Jaune qui rent*. Вовремя въ удивительныхъ размашленіяхъ, о которыхъ онъ такъ краснорѣчиво рассказываетъ въ „запискахъ изъ мертвого дома“, что окрываетъ его, что даетъ ему вѣру, бодрость, сила? Сознаніе, что ему не суждено разделить участь товарищей-арестантовъ, что его ждетъ новая жизнь. Онъ

принимает то, что от него происходит, он в покорности судьбы, ибо
 идет много. Вот его собственная слова: ... „ какими надеждами во-
 дилось тогда мое сердце. Я думаю, я рвусь, я плыву себе, что уже
 не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех надежд,
 которых были прежде. Я начертать себе программу всего будущего и поло-
 жить твердо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что я все
 это исполню и могу исполнить... Я думаю, я звал поскорей свободу, я
 хотел себя испытать вновь, на новой борозде. Порой захватывало
 меня оудорожное кетеритие⁽¹⁾.

Тамъ отзывался Достоевский на свою паторгу. Онъ хотѣлъ и могъ
 видѣть въ ней только временное испытаніе и цѣнилъ его лишь по
 столько, насколько оно было связано съ новой, великой надеждой. Въ этомъ
 освѣщеніи новой надежды онъ видѣлъ и всю паторожную жизнь. Оно то
 и придаетъ „запискамъ изъ мертвого дома“ тотъ меткій колоритъ,
 благодаря которому онъ попадаетъ на особомъ счету у критики и
 пользуются расположеніемъ даже техъ читателей, которые въ погрѣ-
 шитель сочиненіяхъ Достоевскаго усматриваютъ лишь проявленіе неука-
 ренной, неученой жестокости. Въ „запискахъ изъ мертвого дома“ жесто-
 кости вложены въ мору, ровно столько, сколько нужно — нужно, разумѣ-
 ется читателямъ. Это, конечно, и зрѣлая чужая, погрѣшаящая описаніи
 и безудержна арестантскія и безсердечности острожного начальства. Но все
 онъ иливаетъ „правдивѣйшей акадѣміей“. Съ одной стороны людямъ напоми-

¹⁾ Зап. изъ мертвого дома, 289

кается, что «арестантъ» — «тобѣ человекъ и называется братъ твой».
Для той цѣли наряду съ разсказами о збѣрствѣ каторжанъ — или-
ются захватывающія картины, въ которыхъ рисуются горяча чувства
обитателей мертвого дома. Рождественскій театр, покупка пива, острѣ-
лая бивотина — Ноземъ и молодой орелъ, — все эти идилическіе моменты
съ такими искусствомъ и непреклонною воспроизведеніемъ Достоевскихъ,
дали ему заслуженную славу большого художника и человека великаго
сердца. Если въ каторгѣ не зачерствѣла его душа, если онъ среди
невыносимыхъ физическыхъ и нравственныхъ мукъ могъ сохранить
въ себѣ такую отзывчивость по великому человеческому — значитъ
такая въ немъ великая сила! И еще отсюда ^{от} глаголетъ философи-
ческій выводъ, что глубочайшаго, истиннаго чужбденія не можеть побѣ-
дить никакая каторга.... За всеми этими восторгамъ и замѣ-
чательными забавленіями и посмѣдніемъ человека, оставшагося доживать
свои дни въ «мертвомъ домѣ» или гдѣ-нибудь въ какомъ острогѣ,
въ кандалахъ, по цѣпи, подчѣ вѣзники пристотроивъ солдатъ, тотъ
бездомно-каторжанинъ, котораго самъ же Достоевскій сравнивалъ (то-
лактинное сравненіе, криво да ли?) съ жалкимъ погребеннымъ; забавля-
ли, вѣроятно съ тѣмъ и справитъ ся о томъ, что именно предопредѣ-
нено отъ роковитнаго сердца Достоевскаго.² Почто оно было изъ
чистаго золота — или тѣмъ замѣшано иная причина. Вопросъ
любопытный, но неясный. Никогда не можеть противить легендѣ о

Золотая сердца, хотя бы заткнула птоль и не то и не не
показательству ее ~~правды~~ истинности.

Уже привычная ваша вписка возбуждает некоторое недоуми-
ние в читателя: слишком много ждет для себя золотое сердце!
Но ожидание новой книги всегда сопровождало и утешало ее каторж-
ные досмотры. В записках из мертвого дома ^{о новой книге} вспоминается
каждый раз как только лицо, от имени которого ведется рассказ,
почему-либо особенно сильно чувствует свое темное положение. Так,
например, в ночь после первого представления в театре Борн-
шовой случайно просыпается „В испуге, рассказывает она, я
приподнимаю голову и оглядаю своих спящих товарищей при дро-
жащем свете местной казенной свечки. Я смотрю на
их бледные лица, на их бедные постели, на всю эту непрохо-
димую грязь и нищету — и точно мне хочется уверить, что
все это не продолжение безобразного сна, а действительная
правда.“¹⁾ И как справляется Достоевский с таким убеждением
бедняки? Вряд ли случай обливает слезами: никак не
возмется не сравнится с тем, что он увидит. Но, в каторге
не плачут. Об этом мы еще узнаем подробнее от Достоевско-
го. А пока его непосредственный ответ: „не навсегда же я зрела,
а только на несколько лет, думаю я, а склоняю опять голову на
подушку! Счастье? Только такой ответ годится на меня

задалий вопрос; надюсь, въ замѣтили вопросъ. Свѣрка на театръ, розла, глупа зрюсь не прикидается. Не вспоминаютъ и туманныя разсужденія, вѣтротающіяся въ другія животныя, записки⁴. Примирился можно на одною — что каторга не навсегда, а на время. Достоевскій ни на минуту не забавалъ этого, пока былъ арестантомъ. „Я еще хотѣлъ жить и послѣ отрога,“ говоритъ онъ.

Г

Миссина

Правильно^{ли} пониманію „записки изъ мертвцаго дома“ много мнѣ
ло предисловіе. Каналъ бѣда въ немъ нѣкуда? Зачѣмъ было Досто-
евскому разсказывать, въ приключенію исторію, будто записки при-
надлежатъ гворанину Александру Петровичу Горанчикову, сосланно-
му въ каторгу за убійство жска? Для цензуры? Но, вѣдь въ „запис-
кахъ“ нисколько не скрывается, что Горанчиковъ попалъ въ каторгу
по политическому делу. Такъ, когда ему вздумалось присоединиться
къ претензіи арестантовъ, другіе политическіе ссыльнныя напомина-
ютъ ему, что онъ своимъ участіемъ можетъ лишь все дело испорчить:
„вспомните, говорятъ они ему, за что мы сюда пришли“. И еще по-
нимаю поводами глупости весьма незрѣлыя на меня на то, что
авторъ записокъ не политическій, а уголовный. Словомъ цензуру пре-
дисловіе обмануть не могло. Если оно обмануло кого-то читателя,
представивъ ему въ лобномъ свѣтѣ самого Горанчикова, вѣдущаго

разсказъ. По предисловію судя, мы имеемъ дело съ человѣкомъ, безвозвратно погибшимъ для жизни. Въ до того убить своихъ претупленіемъ, что даже бѣжитъ общества людей. Въ немъ нѣтъ не разговариваетъ, никто не читаетъ и проживаетъ въ глуши Сибири послѣдніе дни, выходя изъ своей каморки лишь за тѣмъ, чтобы добыть ^{у/р/о/д/а/м/и} (дѣла) нѣе гроши. И умираетъ онъ одиоко, всеми забытый и всеми забытый. Конечно, бываютъ такіе заживо погребенные люди и на волю — не только въ тюрьмахъ. Но такіе люди не пишутъ своихъ воспоминаній — а, если и пишутъ, то уже навсѣгдѣ не въ тѣмъ, „записокъ изъ мертвато дома“. Тутъ взяли бы они глаза, чтобы видѣть орестактскія заставы и развлечения? Тутъ взяли бы они теплоту, чтобы умиляться погѣ разнаго рода „доброму“, отъскапкомъ въ каторгѣ Достоевскихъ? Горюхиновъ могъ бы описать (если бы стоило описывать: повѣряю, такіе люди рѣдко пишутъ) безпросвѣтной, вѣчной оури. У него нѣтъ надежды — разве это не значитъ, что надежда погибла для всего міра? Это я не какъ прикинуть погу всѣмъ — читателю еще нечего протѣстовать — отъ пока только „психологическимъ говорю. Дать Достоевскій, въ пору составленія Записокъ и во все время своего пребыванія въ каторгѣ былъ прямой противуположностью Горюхинова. Онъ былъ прежде всего человѣкомъ надежды — и великой надежды, и потому его способъ пониманія міра, его философія — была также философіей надежды. Это и предохранило его сердце отъ распада

чина, що и було причиною, тому що вникши в котрих нестрокутой
всю ту „гуманність“, которую він тудя приніс з собою. Залиба на
его думи Лясаго вникос проклятіє, катъ на думи Горанчикова,
помогла ба-ли ему гуманність? Піддержали-ли ба его думи „уби-
гений“, катъ він самі розсказуваєть или, наоборотъ, „уби-гений“
самі пущаєть, не смотріть на всю свою вачоту, въ піддержанні? Другі
вопроси именко зростають. Горанчиковъ-ба не написавъ „за-
писокъ изъ мертвого дома“ — а Достоевскій написавъ. Зали-же въ цій
романи сплихитъ отъ времени до времени різкіи диссонанси, катъ
порой въ вступієть отъгубляюча сцена и замираніє, ~~неожки-~~ неожки-
данко парують обіцую гармонію „гуманного настроєніє“ —
то отъ нужно віднести на чотъ измѣнчивости и непостоянства
надежди. Воді она самое капризное ещество; она приходить и ухо-
дить когда ей вздумаетъ. Навѣрно, во время пребаваніє Досто-
евскаго въ Катери не разъ покидала она его — и на дого. И ботъ
въ тѣ-то мінутѣ, когда він чувствовавъ себя грієтвительно не-
всти, навсєгда сраженнали съ послѣдними словами, въ нємъ за-
ривдали тѣ новє и єтропнає душовнає значєніє, котрємъ
счєдєно було в послѣдствіє развитієя совєстє въ инує философію,
въ настоящую философію Катери, безнадєжності, въ философію поу-
побнаго чєловєка. Со вємъ тѣмъ намъ єще не разъ придетъ
и мѣтѣ дѣло. Но пока тѣ єще єкратѣ; пока „гуманность“ дєрвиѣмъ

непоколебимо, пока Достоевский захочет лишь одного: вернуться
к прежней жизни, глотать прежнюю горю, только лучше, чище, без
отступлений, слабости, утупок. Но о „перерождении“ убожес-
твий еще не может быть речи. Гнетущей порой вещей еще
не возмущает своего голоса, и гуманность торжествует.
Во всем отношении очень важна и интересна публицистика
отца Достоевского, от посвящая к описанию возможному периоду. Ин-
тересно. Они печатались в журнале „Время“ за 1861 год. Не
смотря на то, что они были частью посяг на политический ха-
рактер, спокойствие тона, уважительное отношение к противнику,
наряду с чувством собственного достоинства и соответствующей
ему энергией языка и мысли — по истине прекрасны. Не то, что
прекрасны для Достоевского, полемика которого (напр. с возражения
проф. Градобскому) иногда бывала просто неприличной, но прекрас-
ная во всей литературе. Общественно, как начинался полемика,
так тотчас же забывался даже самый предмет спора. Против-
ники лишь старались переизогнать друг друга остроумием,
находчивостью, грацией, чистотой. Во статьях же Достоев-
ского нет ничего подобного. Они не хотят меча — они хотят
мира. Мира — и с добролюбовцами, в которых они, не смотря
на крайности ^{его} воззрений, считали талантливого писателя, мира
и с славянофилами, которых они уверяет за или враждебные

превращение и заслуживать всей славянофильской литературы. В
этом знаменательно и то, что Достоевский ищет примирения,
тот Достоевский, который, после Пушкинской речи, так горько
завывая на объединение всей партии, не вадерсала и первого возра-
жения сразу же сбросил ~~с себя~~ маску патасканную "на себя
всечеловечества; но вникать в то, не следует забывать - особенно
тот, что и в нем в нем пророческий дар - его возражений славяно-
филам, по поводу начавшейся тогда издаваться газета "День".
Впрочем, покажи, наоборот; скорей следует ~~и~~ ^и совесть
позабав полемичку от "Дня", ибо она рождала ~~и~~ компромети-
рует пророческие способности Достоевского. Ну, что это за пророк,
ко если он не может предугадать собственное будущее - и очень
недалекое? Если в 1861 году он так серьезно и искренно упе-
кал славянофилов за то, что они не умиляют оценок за-
лучи западников и так горько защищал западников, в кото-
рых впоследствии будет сам видят только хихикающие
либералы? Уловку, даже примитивную, даже гениальному
разволитивно ошибаться; но ведь пророк потому только и пророк,
что он всегда безошибочно знает будущее. Статья, о которой
здесь идет речь, мало известна. Поэтому будет не лишним
привести ее, три вадерсала из нее. Они окончательно убедят
читателя, что Достоевский в каторгу не забав своей врага. Во

первая (я беру почти весь выбор — без отъезда написана в та-
комъ духе): „скажемъ прямо: предводители славянолюбъ
извѣстны, какъ честные люди. А если такъ, то какъ можно ска-
зать о всей литературѣ, что она „равнодушна къ скорбямъ
народнымъ“. Какъ смѣло сказать: „о порицаніи нашей народ-
ности не въ силу неодолюющей палкой любви (подчеркнуто у
Достоевскаго), но въ силу внутреннего нечестія, инстинктивно
враждебнаго всякой святой части и доле“? Это за фана-
тизмъ вражды!... Кто можетъ сказать это, кроме человека
въ высшей степени драматическаго изступленія!... Да тутъ
пахнетъ кострами и пятами“! Подчеркнутой фразы взя-
та Достоевскимъ изъ статьи „Дил“. Она приводитъ его въ не-
готовности, онъ ее забыть не можетъ и дальше, слова сами
сбиваясь, восклицаетъ: „какъ поднялась у васъ рука написать
ее!“ Вспомогатель у Достоевскаго поднялась рука и не такъ
фразой пишетъ. Кто, говоря о западникахъ и о въ ихъ борьбѣ съ до-
родориченными порядками, сомнѣвался въ томъ, что у нихъ под-
видимыя сколько бы ни невидимая сила?! А развѣ славяно-
любъ поди „внутреннимъ безчестіемъ“ понимали что-либо
иное? Но пока Достоевскій еще не подозреваетъ, до чего ему
придется договориться въспомогатель. Пока онъ „убѣжденно“
держитъ сторону западниковъ: „Будто бы въ западникахъ

не было тогда и чужья русская душа и народности (подчеркнутой
типой), как и в славяновилан? Болло, но западники не ко-
тили по фиксирен заткнуто глаз и уши предъ и въ торжани,
исполнителями для нихъ явлениями; они не могли оставить
или безъ раздумия и востъ Болло ни стало отнестисе
къ нимъ враждебно, какъ думали славянофилы; не закрывали
глазъ для свѣта и могли дойти до права умиа, анали-
зомъ, попытисе... Западническо обратило въ реализму,
тогда какъ славянофильство до сихъ поръ стоитъ на смут-
номъ и неопредѣленномъ и думаетъ востъ... И еще: „Западни-
чество шло путемъ безпощаднаго анализа и за нимъ шло
востъ, только могло идти въ нашемъ обществѣ. Реалисты
не достигли результатовъ своего анализа. Пусть лопъ въ тѣхъ
массѣ, пусть въ ней еброго востъ лопъ, которая въ съ такими
права наслажденіемъ перемѣняется. Ма не боялся этого
злораднаго исчисления нашихъ болъзней. Пусть это лопъ, не
движется нашъ правда. Ма въ это востъ... И т. д. — всѣ статьи
написана въ такомъ родѣ. По содержанию она не представляетъ
собой ничего примечательнаго. Писатели статьи были почти
окружены шестидесяти годовъ. Это востъ лишь то обѣща-
тельство, что Достоевскій въ это время еще, повидимому, не
подозрѣвалъ, какъ далеко придется ему уйти отъ востъ, тѣхъ

Лв., стр. 184.

идей, не смотря на то, что ему уже было сорок лет, что он много уже пережил - и ссору со Бублинским, и каторгу, и солдатчину. Он не смеет и думать, что вора скоро отбить его. Он строет и проповедует реализм, анализ, Западничество. А между тем - он уже накануне великого душевного переворота. Это последнюю дань он отдает гуманизму. Еще не много времени - и старый идеал рухнет, подкапываясь невидимыми врагами. Начнется эпоха подполья.....

В. Г. Петров.

И, когда же она начинается? Фанта припугательный: Наме-
раз тогда, тогда, невидимому, стали обвешивать заветными
надежда поколений пятнадцатых годов. Кропоткинское право на
цельный ряд предположений и воплощающихся реформ с целью осу-
ществить в жизни ту мечту, которой отдался Бублинский, мечта
которой плакала Катя ("униженные и оскорбленные"), когда Иван
Петрович читал ей свою первую повесть. До сих пор только
в книгах говорили о "последнем человеке" - теперь права его призна-
лись всенародно. До сих пор "гуманизм" была только отвлече-
нность - теперь ее призвали к жизни. Самое крайнее
идеалиста в начале 60-х годов должно было признать, что ^{действительность, обаяние} этот
мечтатель и неподвижный, на этот раз не слишком отстаёт от
их мечтаний. В литературе было великое празде^{не}ство. Были лишь

Достоевский не разделял общего ликования. Он стоит в стороне, ясно
ничего необычайного не произошло. Больше того, он прячется в подполье:
надеялся России - не его надежды. Ему нуть до них дела....

Как объяснить такое равнодушие величайшего русского писателя
к своим событиям, которые в нашей литературе считались ~~великими~~
полагающими начало новой эры русской истории? Более точное объяснение
просто: Достоевский был болельщиком художником, но плохим маслени-
чником. Известна цитата из его письма: «Это - стоит не боже
уручить. Но как и всякое общее место, оно заслуживает внимания.
Не даром явился оно на свету Божий. Оно нужно было людям, но
не затем, чтобы открыть путь истинный, а наоборот, чтобы за-
крыть ей все пути, чтобы задушить ее, не дать ей ходу. Дивится тут
впрочем, некому, если вспомнить о такой „истинке“ зреть и идет речь!

И как было не думать, если она самого Достоевского приводила
в уныние?! Я приведу здесь лишь один небольшой отрывок из за-
писки подпольного человека. Вот что он говорит пришедшей
к нему за „кравивской“ поддержкой „женщины из публичного дома“:
... „на дуть мне надо знаешь чего? Чтобы ва провалился, вот чего!
Мне надо спокойствия. Да я за то, чтобы меня не беспокоили, все
свое сейчас за копейку продам. (Вот-ли провалится или мне
чего не пить? Я знаю, что своему провалится, а чтобы мне чай
всегда пить.“) И кто ^{это} говорит такое? Кому пришло в голову впа-

1) Записки из подполья, 171

жизнь в уста своего героя слова такого чудовищного цинизма?
Тому самому Достоевскому, который еще недавно с такими горячими
и искренними чувствами произносил уже несколько раз цитирован-
ная мною слова о посягательстве человека. Во всяком случае теперь, даю-
щаяся силой удар бить и думать для того чтобы перебрести с
в такую отдаленную крайность?! Во всяком случае теперь, даю-
щаяся должна была ему открыться? О, тысячу раз били права наши
публициста, когда посягали на такую истину общез-
вестно!

„Затиски из подпочья — эти раздражающий душу вопль чужака,
вырвавшийся у человека, внезапно удивлялся, что он всю свою
жизнь лгал, притворялся, когда уверял себя и других, что все
шар существование — это служение посягательству человека. До
сих пор он считал себя отпущенным судьбой, предназначенным для
великого дела. Теперь же он внезапно почувствовал, что он не глуп
и не глупее, чем другие люди, что ему так же мало дела до всяких
идей, как и самому обыкновенному смертному. Пусть идеи хоть
тысячу раз торжествуют: пусть освободятся крестьяне, пусть
задают права и множатся суды, пусть уничтожат рекрут-
чину — у него на душе от этого не станет ни легче, ни веселее.
Он принужден сказать себе, что, если бы взяли все эти вели-
кие и счастливые события, на Россию обрушилось несчастье, он

чувствовать да себя не чужие, — пожелать быт и даже лучше.... Что грешить, сказать, что грешить человеку, который открыл в себе самом такую безобразную и отбратительную массу? Особенно писателю, приходящему думать, что он обязан говорить с читателями вслух, что происходит в его душе? Рассказать правду? Выйти на площадь и открыто, всенародно признаться, что вся прежняя жизнь, все прежние слова были ложью, притворством, ^{лицемерием} ~~вадушкой~~, что в те времена, когда он плакал под Макаром Добушкиным, он и не мало не думал об этом несчастном и только рисовал картины на утешение себя и публики? И это в сорок лет, когда начинать новую жизнь невозможно, когда разрываться с прошлым — значит задвину похоронить себя.... Достоевский и теперь продолжает говорить по старому; почти одновременно с записками из подполья "он пишет свои, "униженные и оскорбленные", в которых усиленно настаивает на себе идею самоотречения, не смотря на то, ^{что} ~~важится~~ ^{важится} погубить себя. Когда берет силу для такого систематического обмана и самообмана? Он уже с трудом выдерживает то, что в "униженных и оскорбленных". И там есть страница, в которой проговаривается зловещий свет нового откровения. Ишь, правда, галенго. Подпольный человек там видит только в разобранном князе (вечером готов верстать) с Иваном Петровичем, — по тому достоянию, что бы понять, какая гроза собирается в душе Достоевского. Князь

20
все время показывающим образом слогается надъ „идеалами“ и „Мич-
аиломъ“, а добрый Иванъ Петровичъ сидитъ, тихо въ воду опушённой,
и не члвкъ не только зацц и титсц, но даже держитъ себя ктъ съ ин-
которымъ достоинствомъ. Позволивъ, ктъ ба въ романъ, кому-либо тѣмъ
только насмѣхаться надъ своей свѣтлостю, — значитъ сдѣлать первой шагъ
къ ея отрицанію. Правда, Достоевскій только одинъ разъ доль торжества-
вать инею — и то на минутку. Затѣмъ, на добивъшихъ страницахъ
все дѣйствующія лица словно щеголяютъ другъ предъ другомъ своими бла-
городствомъ и самоотверженностью. Но одна ладная дѣтлю портитъ цѣ-
лую бочку меда. Тѣмъ болѣе, что и медъ-то не настоящій, а искусствен-
ный, поддѣльный. Таковъ Достоевскаго изсакъ Добро, служеніе и дѣло не
вдохновляетъ его болѣе. ~~Записки изъ под~~
„Записки изъ подполья“ есть, ~~откровенное~~, публичное — ктъ и не открѣ-
тѣ-отреченіе отъ своего прошлаго. „Не могу, не могу болѣе притворяться,
не могу жить въ той лажной идѣи, а другой правды нѣтъ у меня; будь, что
будетъ“ — вотъ что говорятъ эти записки, сколько ба Достоевскій не открѣ-
чивалъ отъ нихъ въ признаніи. Ни разу, ни у одного русскаго писателя
слова „не збувало такой безнадежности, такимъ отчаяніемъ. Ими
то и объясняется то неслепое дерзновіе (градъ Толстой сказала ба
„наглость“ — будь говорилъ онъ оу такъ о Китѣе), съ которымъ Достоев-
скій позволяетъ себя оплевывать самымъ дорогимъ и свѣтлымъ человѣческимъ
чувствамъ. Я замѣтилъ уже, что въ „Запискахъ изъ подполья“ Достоевскій

разсказывает свою собственную историю. Эти слова, однако, не следует
истолковывать в том смысле, что ему самому пришлось на самом
деле так безобразно обойтись со своей случайной подружкой; и, в
истории со Лизой, конечно, все разумно. Но в том-то и весь ужас записи,
что Достоевскому понадобилось почти молчаливо, почти в своей
книжке пропустить такое безобразие. Не Лизу он здесь вынул от
себя. Я уверен, что, ~~как~~ в его душе нашлось бы всегда достаточно
непосредственного чувства сострадания, для того, чтобы воздержаться от
слишком резкого проявления всякого рода раздражений. Ему нужно
было отвлечь Лизу лишь затем, чтобы опровергнуть и втолковать враз
«идею», ту самую идею, которой он суживал в течение всей своей
жизни. ~~как~~ Он графит в той главе, в которой рассказывается
эта ужасная история, взято начало известного немцевского сти-
хотворения: «когда из мрака заблуждений?». Вот над тем-то
стихотворением и над священной книгой людей, от которых он когда-
то страстно принимал «новое учение», так близко и мощно ру-
ководствуется Достоевский. Но это был единственный повод для него.
Он не мог больше молчать. В его душе произошло нечто страшное,
безобразное и страшное — но такое, с которым совладать было ему не по си-
лам. Он все сдерживал, как мы видим, чтобы сохранить свою старую
брату. Он продолжал молиться своему преданному Богу даже и тогда, когда
в его душе не было ^{почти} никакой надежды, что молитва будет услышана

Емю все казалось, что сожнотни придутъ, что это только искуше-
 ние. Въ послѣдній минутѣ онъ-уже одними руками — продолжалъ иск-
 тать свое заклинание: „познается, что послѣдній человекъ есть тоже
 человекъ и называется братъ твой“, ^{слова этого} Но слова ~~этой~~ молитва не только
~~{ не укрепляла его — она и была таинч } не утѣшала его — она была таинч~~
 адомъ, который отравилъ Достоевскаго, которъ въ ^{нѣмъ} ~~дѣлѣ~~ ^{видѣли} ~~продолжаютъ~~ ^{видѣть}
~~дѣлѣ~~ ~~на~~ безопасна и даже укрепляющій душу слова... Благо
 тому, кто въ этой драмѣ чувствуетъ только поэзію братства! Но,
 каково справиться съ ней, когда на первой планѣ выступастъ ничто-
 жество и бессмыслица существованія послѣдняго человека? Какъ
 вывести ее, если весь ужасъ такого послѣдняго существованія уз-
 наешь по собственному опыту? Когда поэзія братства будетъ
 уже предназначаться для повнѣ, входящихъ въ жизнь людей, а тебе
 лично придется взять на себя роль Макара Давыдовича, о въстаніи
 умиленія возмущенныхъ душъ? Что тогда даетъ великая идея
 гуманности? Надежду на будущее, огонь, наконецъ, отгаженнос, мечта
 въ иномъ, счастливого земного человечества?... А пока вогнамъ,
 постыла и лицемерна, роль окружа всего, „прекрасною и высокимъ...“
 Прекрасное и высокое въ казачествѣ — не моя вадумка. Это я пишу
 въ „запискахъ изъ подполья“. Тамъ вся идея въ такомъ видѣ пред-
 ставленъ. Тамъ и Миллеръ, тамъ и гуманность, и поэзія Некрасова,
 и прустовско-с-здравіе, словомъ все, что тогда-то наполняло собой

умилением и восторгом души Достоевского, все основанное на чужих
идеалах и идеализме и собственнических идеалах ссорщиков. Идео-
лог и умиление по поводу их вызывают в нас чувство отвраще-
ния и ужаса. Не то, чтобы мы оспаривали возможность осуществления
идеалов. Об этом мы и не думаем, не хотим думать. Если когда-
нибудь и случится счастье великодушным мечтам его юности - то мы
будем. Если когда-нибудь осуществится идея человеческого счастья на
земле - то Достоевский заранее предвидит его пролетарство. Потому прямо: до
Достоевского никто не осмеливался веназавит такой мысли, хотя бы
и с соответствующими приключениями. Нужно было великое отчаяние
для того, чтобы такая мысль возникла в человеческой голове, нужна
была сверхчеловеческая дерзость, чтобы явиться с ними перед людьми.
Вот почему Достоевский никогда не признавал их своими, и по-
толку и писал в запасе показные идеалы, которые он только исте-
рически выкрикивал, чтобы судья они расхоулились с сущностью его за-
ветных желаний и, если хотите, он желал им всего его существа.
Его ^{позднейшие} произведения весь до одного почти пропитаны этой свойственностью.
Спросят: зачем нам искать в них, что ценно? Равнодушны ли
нашему, вопреки "совести и разуму", говорят излюбленными толстовскими
словами, запроса его души или изтопившиеся поборные или менее
обильному ~~идеалу~~ рецепта высокой души? На какой стороне истина?
До сих пор "совести и разум" считались последними судьями. Все, что

есть у нас по части идеалов и надежд, создавались ими оукины. Но
 теперь, когда обшаркивается оудья надъ этими судьями, что намъ
 делать? Взять ли его голову, или, оставаясь верными традициямъ,
 вновь привести его къ молчанию? Я говорю, вновь, ибо не разъ уже люди
 сносили этотъ голову, но всегда, въявъ у насъ, закружали его торжества
 наши и нашими въ честь старыхъ судей. И самъ Достоевскій такъ дру-
 галъ, хотя въ этомъ смысле его сочинения напоминаютъ рчи тѣхъ
 проповѣдниковъ, которые подъ предлогомъ добра съ безправствемъ,
 рисуютъ завлекательная картины соблазна. Что бы не говорили люди тра-
 диций, свикшихъ уже быть не можетъ. Нужно вслушаться человека та-
 кимъ, каковъ онъ есть. Отпустили ему заранее все его грѣхи — пусть
 лишь говорить правду. Можетъ быть — кто знаетъ? — можетъ быть
 въ этой правде, столь отвратительной на первый взглядъ, есть нечто, много
 лучшее, чѣмъ прелесть самой пылкой лжи? Можетъ быть, всю силу
 скорби и отчаянія должно направить совлечь не ^{но} то, что изобличаетъ
 людямъ то, что для насъ обремененной брени учения и идеала, какъ дѣлали до
 сихъ поръ учителя человечества; ~~Можетъ быть не~~ ^{но} всегда ревниво сра-
 вавшие отъ постороннихъ глазъ свои собственные соименія и несомнѣно?
 Можетъ быть нужно бросить и гордость и красоту умиранія и все бли-
 нѣ укрощенія и оплотнѣ попытаться увидѣть такъ выцветавшую истину?
 Это, какъ отъорос предположеніи, что дерево познанія не есть дерево жизни —
 ложно? Стоитъ проверить этотъ предразсудокъ, на ряду съ обуславливаніемъ

щей его теорией естественнаго развитія! Векорбленная во всемъ, святая
у насъ, душа бытъ можетъ найдеть въ себѣ сила для новой борьбы....

VII

Таковъ первый моментъ рожденія убѣжденія: исчезла надежда на но-
вую жизнь, о которой только мечталось въ торговлѣ и вѣнчаніи съ тѣмъ же
почти въ прахъ ученіе, казавшееся доселѣ неизбѣжнымъ и вѣчно истиннымъ.
Сокровища бытъ не можетъ: не надежда держалась ученіемъ, а, наоборотъ, —
ученіе держалось надеждой. Съ тѣмъ же сознаниемъ кончается для человѣка
тѣмъ же тѣмъ царство „разума и совѣсти“, и начинается новая эра —
психологіи, которую у насъ въ Россіи впервые открылъ Достоевскій.
Между прочимъ, прямой антагонизмъ между „разумомъ и совѣстью“
съ одной стороны и „психологіей“ — съ другой до сихъ поръ мало кто рѣ-
шается признать открыто. Большинство предполагаетъ возобновленіе
сохранитъ старую іерархію, при которой психологіи приходить зани-
мать подчиненное положеніе. За что — лишь доноситъ о томъ, что про-
исходитъ въ человеческой душѣ, верховная или законодательная права
попрежнему остаются за совѣстью и разумомъ, которые да поря-
дять, чему „должно бытъ“ и чему бытъ не должно. Такое предположе-
ніе рождать можетъ даже люди, наиболѣе способствовавшіе успѣхамъ
психологіи. Таковъ на примѣръ, г. Ткачовъ, своими произведеніями по
крайней мѣрѣ не только не, но сколько и Достоевскій въ теченіи десят-
ковъ лѣтъ подражавшій въ насъ говорить къ законности и притязаніи

всякого рода безусловностей, до сих пор продолжает превозносить пре-
 вше всего, разум и совесть. Виз обладает особыми искусством произ-
 носить эти слова такими тоном, что всякое сомнение в их свя-
 тости и неприкосновенности начинает казаться возмутительным ко-
 мунистством. В этом отношении Достоевский никогда не мог срав-
 ниться с г. Толстым. Однако, ни тому, ни другому не удалось соеди-
 нить несоединимое. Имя Беньковича попытки возвратиться к отвергну-
 тым коррипционным словам свідательствуют лишь о том, что дело разру-
 шения не только не менее, но много более трудно, чем дело сози-
 дания. Только тот рискует разрушить, кто уже иначе жить не
 может. И, если в этом направлении Достоевский пошел дальше г.
 Толстого, то отнюдь не потому, что более добросовестней, честней или
 искренней. Нет — в таких делах много рвущихся опроверга-
 ется советам иными законами. Теловые всели силы стараются
 сохранить оставшуюся силу в настояще время и отказывается от
 своих прав лишь в случае полной невозможности удержат их за
 собой. Достоевский, как видно из послесловия к „подростку“ мечтал
 отворестить в духе г. Толстого. „Еще Пушкин, поборитъ онъ, напи-
 шетъ сюжетъ будущихъ романовъ своихъ въ „преданияхъ русскаго семейства“
 и повторитъ, что тутъ действительно все, что у насъ было досель красива.
 По крайней мере тутъ все, что было у насъ хотъ сколько нибудь завер-
 шенно. И затѣмъ далъ, разсуждая о романтизмѣ, который бы взялся за

наивысшую Пушкинскую тему, он продолжает: „такое произведение,
при великом таланте, уже принадлежало бы не столько к русской литера-
туре, сколько к русской истории... Внутрь таких героев, которые были изо-
бражены в картинах, изображавшей русское семейство ^{и из турского} средне-восточного
круга в течение трех поколений сразу и в связи с историей русской.
Этот потомок предков своих уже не мог бы быть изображен в ес-
тественном типе своем иначе, как в несколько мизантропических,
уединенных и несколько цуриковском виде. Даже должен явиться
каким-нибудь чужаком... Если вспомнить, что владетель Достоевский,
по поводу „Анны Карениной“ называл гр. Толстого историком
средне-восточного круга, то станет ясно, что в приведенных ци-
татах речь идет о „война и мира“ и введенных в этот роман
типов. Красота и законченность толстовских образов напоминает
Достоевского. Если бы попытаться определить, ясности и полноты были,
но он должен признаться, что такое „счастье“ уже навсегда помещено
историей, что современный человек ^{только} вспоминает ~~тогда~~ об этом,
которое ~~никогда~~ уже не вернётся. Горькой судьбы, он направляется
к своим уединенным и мизантропическим чужакам. Однако, Достоевский
в эти свои суждения не советничает. Ему самому, конечно,
кого-то зовут среди героев „война и мира“. Для него так люди — ис-
тория и только история. Но из творца, гр. Толстой, совсем иначе
смотрит на них и вовсе не желает их обращать в марионетку

прошлого. Наоборот, онъ котлы въ нѣхъ видѣтъ вѣчно-настоящее, исключительное. Для него Пьеръ Безуховъ, Наташа, Ростовъ, княжна Марья — давно отжили люди, принужденное чувствовать свое житье по новому „удивительному и мизантропическому“ т.е. подпольному человеку — онъ, наоборотъ настаиваетъ на томъ, что все они герои настоящего дня. Наставляетъ, правда, иногда преувеличенно резко, такъ что этимъ уже до какой-то степени выдаетъ себя. „Война и миръ“ есть произведение человека, которому нужно не только многое вспомнить ^и разсказать, но также и очень забыть и ной-что замолчать. Здесь нѣтъ той естественной простоты и устойчивости, которая чувствуется въ „наполеоновской“ Гр. Толстой не ограничивается, какъ Пушкинъ, ролью повествователя, художника. Онъ постоянно проблужаетъ искренности и правды — всякая почти слова своихъ героев. Ему нужно знать, точно ли они впрямь во все, что говорятъ, точно-ли они знаютъ, куда идутъ. Онъ тоже психологъ, какъ и Достоевскій, т.е. онъ тоже ищетъ корней. А ведь все корни — глубоко подъ землей, значитъ и Гр. Толстой знаком изучая, подзаливая, подпольная работа. Той полумеровской, патриархальной наивности, которую ему приписываютъ, онъ не достигаетъ, но и стремится къ ней всеми силами. Изъ этихъ глазъ, свободныхъ, вонзается человеку. Онъ можетъ вора, а занимается проворной, которая всякую вору убиваетъ. Только своему колоссальному художественному дарованію Гр. Толстой обязанъ тѣмъ, что читающая публика не почувство-

вала, только искусства, а почти готово сказать искусственности потре-
бовалось великому писателю велики русеню, чтобы создать свои замечательные
произведения. И не только творчество, вся жизнь г-на Толстого,
носит на себе следы вечною борьбою со „психологией“, со подпольем. Но
его жизни еще судить преждевременно. Это же писательская ответственность.
одно непрерывное стремление так или иначе — силой, хитростью, обманом
подвигать упорного врага, подрывающего в самую основу возможность
счастливого и светлого существования. И это в значительной степени
удается ему. Он платит свою дань подполью — правильную, постоян-
ную дань, но всегда с таким видом, как будто бы это дань не дань,
а добровольная приношение, разрывающая „разумом и совестью“. У Дост-
тковского подпольный человек, оживившись после своей жизни, приходит
в ужас и сразу порывает со всеми своими проклятиями. У г-на Толстого
его перо никогда не перестает вопить в „прекрасное и высокое“ — даже
в те моменты, когда перед ним встает вопрос во всей полноте несо-
ответствия действительности идеалам: они позволяют действительности
войти в свои права, но не перестают ни на минуту
читать идеала. Такие примеры поражения русских войск, сдачи Москвы
и т.д. не на кого из героев „войны и мира“, не принимающих непосред-
ственного участия в военных действиях, не производят ^{слишком} сильного
удручающего впечатления. Г-н Толстой неоднократно отмахивался
от обаятельного, так что, собственно говоря, довольно было бы полагаться

такое впечатление, как и отъ обращения къ Лизе слово подпол-
 ково человека: „~~но никак не~~ я скажу, что въ свѣту пробажить, а
 что въ мнѣ всегда чай нить“! Но такого впечатления не получается.
 Напримеръ, Николай Ростовъ бесѣдуетъ съ княжной Марьей и, конечно,
 въ ихъ разговорѣ злоба духа не обидѣла. Но какъ они относятся къ вели-
 кой трагедіи, разрывающей на ихъ глазахъ? „Разговоръ блѣдъ са-
 мой простой и незначительный (!). Они говорили о войнѣ, немного, какъ
 и все преслаживая своимъ печаломъ объ этихъ событіяхъ“. Князь только давши
 гр. Толстой еще поясняетъ: „видно было, что онъ не знаетъ, какъ Россія
 она (княжна Марья) могла говорить притворно, но братъ ее блѣдъ
 предаетъ, слишкомъ близкій къ сердцу и она не могла и не могла
 сама говорить о немъ“. Эти замѣчанія необычайно характерна для
 „войны и мира“. Гр. Толстой возразитъ, что только можетъ, капризничаетъ
 какъ, что для лучшихъ людей 12^{го} года неслыханъ Россія знала не-
 ни, чужды имъ собственная, личная горечей. Но при этихъ напоса-
 нкахъ онъ умѣетъ сохранить не только повсюду, на виду, ясность души и
 то что будто ничего особеннаго не произошло, точно и въ самомъ дѣлѣ
 разумъ и совѣсть могутъ спокойно и безмятежно на проявленіе такого
 ужаснаго злочина. И, действительно, разумъ и совѣсть остаются
 спокойными. Очевидно, имъ нуженъ только внѣшній пометъ, куда-то
 имъ только говоритъ съ ними въ извѣстномъ тонѣ, какъ съ на-
 чальниками деспотами, и они держатся совсѣмъ ручками. Какой же

жалъ поднимъ очи, если бы вѣсто того, что бы „притворно огорчатся“
блудствіями Россіи, княжна Марья, напр., прямо заявила, по ма-
неръ подпольнаго чловѣка: „Россіи-ли погубитъ, или мнѣ чаю и
пито? Я скажу — пусть себѣ гдѣтъ Россіи, а что въ мнѣ чай болѣе.“ По
существу, у гр. Толстого и княжна Марья, и Николай Ростовъ го-
ворятъ ~~то же~~ именно такъ. И въ другія гдѣтъвующія лица это-
го романа (лучшія, конечно — и именно лучшія, худшія не позволи-
ютъ себѣ такой откровенности) не могли превзойти и въ своемъ
патріотизмѣ. Въ концѣ концовъ гр. Толстой околѣлымъ путемъ
все сводитъ къ проявленію чловѣческаго гонима. Но тѣмъ не менѣе
прекрасное и высокое не полагаетъ въ наважи и сохраняетъ свое
прежнее ^{почти} ~~высокое~~ положеніе. Графъ Толстой находитъ возможнымъ
принять безъ оговорокъ жизнь такой, какова она есть. Восторго-
во, невидимо для читателя, онъ отнимаетъ суверенная права у
разума и совѣсти и гонитъ автору вѣщей самого себя т.е., прояс-
говоря, каждаго чловѣка. Но онъ хочетъ полной теоретической
подложки (санкціи истинна, [«] ~~и~~ [»] ~~онъ~~ ^{онъ} говоритъ Достоевскій) и потому не
упраздняетъ ^{открыто} (всю прежнюю власть, а лишь практически и исподовою
(гр. Толстой всегда гдѣтъуетъ исподовою) утрачиваетъ и въ вѣхъ
вліяніи на жизнь. И онъ знаетъ, что гонитъ. Ему необходимо
еще сохранить въ известномъ случаѣ претѣновъ и обаяніе старыхъ
авторитетовъ. Онъ, конечно, уже и въ слѣдствіе не будетъ — но онъ а

послушатъ ему. Во всякъ тѣхъ случаяхъ, когда онъ собственными силами не можетъ бороться, онъ обратится къ иже гудесному едѣйствію и онъ своимъ властнымъ голосомъ поддержать его въ трудную минуту.

VIII

И. Н. Петров

Достоевскій, разбирая „Анну Каренину“, замѣтилъ между прочимъ: „Анна Каренина совсемъ не невинная вещь.“ Еще бы! Ну кто бы самому уже очень невинному человеку, для того чтобы въ творческомъ ир. Толстому увидѣть лишь одну позыю. Любопытно, однако, что нѣсколько раньше, до появленія послѣдней части „Анны Карениной“ (вошедшей въ третье изданіе), тотъ же Достоевскій называлъ Левина человекомъ „чистой души“. Не правда ли въ нѣкоторыхъ случаяхъ слѣдуетъ съ большою осторожностью относиться къ общепринятымъ словамъ?! Въ чистотѣ души человека — это такое „невинство“, а Левинъ герой „Анны Карениной“, въ немъ весь смыслъ романа. Но, Достоевскій, выступая въ роли литературнаго критика, считая себя обязаннымъ quand même поддерживать всякого рода идеалы — потому и къ Левину приписывается столь младенчески нежная интимность. На самомъ дѣлѣ Достоевскій хорошо знаетъ цену Левину и, если имѣлъ сперва намереніе держать свое знаніе про себя, то у него была на то важная причина. Появленіе послѣдней части „Анны Карениной“, въ которой ир. Толстой позволяетъ себѣ сдѣлать надъ увлеченіемъ добровольческимъ движеніемъ, взорвало Достоевскаго и заставило

его сказать больше, чѣмъ то дозволяло его литературное положеніе и обя-
занности вращающаго проповѣдника. Да и пр. Толстой далъ въ „Днѣхъ кѣ-
ренкой“ сличенію много простору сво „подполковнику Человѣку“. Левинъ,
напрямую, прямо высказываетъ, что „никакого непосредственнаго чувства
къ унѣженію славянъ нѣтъ и не можетъ быть“ и втѣряетъ въ ста-
ромъ князѣ (лицѣ, очень симпатичномъ автору, какъ видно по ходу романа
сильную поддержку). Вотъ и я, говоритъ князь, никакъ не понимаю,
почему все русскіе вдругъ такъ полюбили братьевъ славянъ, а я никакъ
къ нимъ любви не чувствую... Но, прѣхавъ сюда, я успокоился; я вижу,
что и кроме меня есть люди, интересующіеся только Россіей, а не
братьями славянами. Вотъ и Кокушкинъ. Такой разсудительный
въ устахъ полюбившаго ^{полковника} героя ^{романа} Достоевскій считалъ не-
уважительнымъ. Все это можно вразъяснить — но съ соответствующи-
ми приимчивостями, по крайней мѣрѣ хотѣ въ такой формѣ, въ ка-
кой они вразъяснялись въ „войнѣ и мирѣ“. Такие люди, если и чув-
ствовали себя равнодушными къ судьбамъ своей страны, то по крайней
мѣрѣ притворялись горючо заинтересованными войной и такими об-
разомъ какъ бы сознавали въ своей „винѣ“. Зрѣлье — да Левинъ напрямую
объясняетъ, что не хочетъ знать ни о какихъ страданіяхъ славянъ.
Оставалось еще прибавить: было бы только все у меня благополучно
но на такую дерзость и пр. Толстой не пошелъ, т.ч. Достоевскому
пришлось уже отъ себя заставить Левина произнести нѣсколько

моторъ разговора Левина со женой въ III^й главѣ 6^й части романа.

Левинъ и „недоволенъ собой“, и чувствуетъ себя „виноватымъ“ и „побитымъ въ сравненіи съ другими“, даже съ Сергеемъ Ивановичемъ Козловымъ (котораго въ душѣ онъ ненавидитъ и ²отраетъ ¹всячески презираетъ) — словомъ самая требовательная совесть и самый строгій разумъ должны быть удовлетворены его вопрошанническими чувствами. Неодобная оценка и разнотечіи души Левина притягиваетъ въ этой сценѣ уже почти съ областью комическаго. Его заирѣваніе съ „доброю“ на полноту ухаживающаго поголевскаго двана за Волохой: „А это это у васъ божественная Волоха?“. „Полноте? Но ур. Поголевъ не произноситъ ни одного слова. Къ тому — онъ сержется, крѣпко, кажетъ и чувствуетъ, въ глубинѣ души, сколько дерзати въ простотѣ въ такомъ отношеніи къ идеаламъ. Чемъ болѣе его Левинъ замечаетъ въ узкую сферу своихъ личныхъ интересовъ, тѣмъ паче (о Нитѣ и Достоевскомъ сказано это слово: справедливостъ требуетъ признать его и въ Левину) становится онъ въ восхищеніи добра. . . .

О „Дни Каренина“ совсѣмъ не забываемъ. Левинъ отговаривается, Левинъ видитъ себя на пути къ вѣчному погубову, къ каторгѣ и вѣдѣ, къ гибели — и спасается, не разбирая способовъ спасенія. „Утѣша души человека!“ Не даромъ его похваляетъ Достоевскій: воронъ почувствовать за насъ тѣнь и не можетъ скрыть своей радости. Вдумайтесь только коротенько въ жизнь Левина и вы увидите, что не только

италъ оиъ догору, когда въспомнѣ оиу свою глубокую преданность, ко-
 обляемая вѣнъ и, гасуе, когда уверяетъ себя и Кити, что оиъ счастливъ.
 Все — правда, отъ перваго до послѣдняго слова. Левинъ никогда не
 былъ несчастливъ — ни тогда, когда былъ женихомъ Кити, ни
 тогда, когда оиъ на ней женился. Оиъ только притворялся несчаст-
 ливъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, развѣ можетъ быть такая добрая коробка
 (Кити хочетъ — можетъ и не хотѣть оиу этого), какъ Кити въ подруж-
 ецѣ для Левина? Развѣ можетъ оиъ полюбить ее? И вообще, развѣ
 семейная жизнь — подпопыхающа для Левина атмосфера? Сцена, въ ко-
 торой ^{изображается} эта страстная пара, несмотря на то, что оиъ вли-
 скомъ съ необыкновеннымъ стараніемъ и талантомъ, рисуютъ намъ
 въ Левинѣ человека, рѣшившагося прогнать все, что при извѣстныхъ
 обстоятельствахъ прогнать не могли и любящіе люди. Конечно
 свадьба — и Левинъ ночью не спитъ, доходитъ въ безтолковости,
 какъ и слѣдуетъ жениху, до крайней степени, собирается обнять въ
 людѣ и т. д. Кити беременна — Левинъ оберегаетъ каждую шагу ея,
 ежится, дрожитъ. Наконецъ, прѣзжаетъ въ гости Васенька Василь-
 скій и счастливый супругъ, точно насилу дождавшійся случая, устраи-
 ваетъ очень неслышанную сцену ревности съ блестящими глазами,
 сокотомъ кулаками и всѣмъ, чему въ такихъ случаяхъ быть по-
 лагается. А провозъ вселю — это изнанка Васеньки. Христіански-прот-
 ній Левинъ, не желающій обижать турокъ, не задумываясь, бунвалъно

вытаскивается въ мою юбку. И при этомъ не только не расклевывается,
но радуется: не елибости своей, о которой оиъ и не вспоминаетъ. Оиъ
радуется тому, что можетъ, какъ и весь люди, ревновать и въ ревности
своей переходить черезъ всякія границы. Изъ одного изъ своихъ писемъ
г. Толстой говоритъ, что съ отъбраженіемъ рабочаго кажда „Анной Ка-
рениной“. Я полагаю, что этому можно повторить, если имѣть въ виду,
какую задачу ему задавалъ Левинъ. Что можетъ быть постыднѣе, кромѣ
необходимости вотъ бы то ни стало изобразить осливаго и „доброго
человѣка, который боля такъ-же чужды городу, какъ и далеко отъ селъ...“
А между тѣмъ въ этомъ именно и было все дело г. Толстого. Ему
нужно было вотъ бы то ни стало пристроить Левина въ обдаженно-
сти т.е. дать ему занятіе, семью и т.д. На убернскихъ выборахъ
у Левина происходитъ измѣненіе на видъ, по заслуживающій внима-
ніе разговоръ съ знаменитымъ политикомъ:

— Ва же не а, а сломалъ? спросилъ политикъ.

— Да, съ торжествъ удовольствіемъ отвѣтилъ Левинъ.

Съ торжествъ удовольствіемъ! Умиль тѣмъ, кажетсѣ, торжествъ? Человѣкъ
женится, закупа не изъ болѣе. Но для Левина женитба не была
просто женитбой, какъ для всякаго людей. Она была для него доказатель-
ствомъ, что оиъ не хуже, чѣмъ другіе. Отъ того то оиъ, вопреки своему
обаявленію, не только провозгласилъ свою любовь и быти, сколько подне-
живаетъ для нея соотвѣтствующія видныя вараженія. Отъ того то

онъ прощаетъ Кити ^{прошлое} ея ~~увлеченіи~~ Вронскимъ и соглашается съ
нать *sur les brisées*, какъ варабается А въ „войнѣ и мирѣ“ князь
Андрей Болконскій, Вронскій. Отказаться отъ семьи значило
для Левина соречь себя на *capitis diminutio* tantum, значило
потерять одинъ изъ всѣхъ признаковъ жизненныхъ утѣсъ,
а это было для него всего страшнѣе. И онъ женился на Кити,
какъ женился бы на дѣвчонкѣ или на какой ^{какой-нибудь} ~~какой-нибудь~~ ^{непріятной} ~~непріятной~~ ^{дѣвчонкѣ} ~~дѣвчонкѣ~~
женившись въ кругу, достаточной приличной, чтобы придать бѣднѣ
бывшему благообразный характеръ. А его любовь, заботливость,
ревность — это одни лишь перья, играющіе комедію для чужихъ и
собственныхъ глазъ. ~~Самъ~~

Самъ собою разумеется, что такой бракъ ^{вызываетъ} ~~вызываетъ~~ въ челове-
кѣ чувство гордости: и у него, говоритъ онъ себѣ, есть похва
ночь похвалы. И все, рѣшительно все, что дѣлаетъ Левинъ — ильст
одну цѣль: угодить себѣ и другимъ, что онъ проно, въ кортѣхъ,
врокъ въ землю, т.е. никакая буря уже не повалитъ его. Задача Ле-
вина влѣсть въ тѣло и задуша пр. Толстого. А между тѣмъ
великій писатель знаетъ, что есть и падающіе и упавшіе люди,
которыхъ уже никогда не подниметъ. Онъ часто говоритъ о нихъ,
онъ соображаетъ теоріи, примиряющіе насъ съ паденіемъ. Но
самому понасть въ каторгѣ падающихъ, принять на себя *capitis*
diminutio tantum, потерять право на покровительство человѣч-

нихъ и божескихъ законовъ? На то онъ добровольно и за что не согла-
ся. Все лучше, чѣмъ то. Лучше оселиться на Кипрѣ, лучше заниматься
изобрѣтеньемъ, лучше лицемерить передъ докторомъ, лучше обманывать себя,
лучше бѣть такимъ, какъ все — только бы не оторваться отъ людей, чтобы
никогда не оказатся „заживо погребеннымъ“. Совѣтъ жаль, паша и у Дост-
оевскаго. Разница въ томъ, что у пр. Толстаго была еще чисто вити-
ная возможность вернуться въ людской, а Достоевскій уже не пыталъ
ся. Достоевскому уже было „все ~~да~~ равно“ („сонъ сумасшедшаго человека“),
онъ зналъ, что не уйдешь отъ судьбы. Пр. Толстой въ еще ^{стѣ} ~~плѣнѣ~~
надеждѣ и до конца своей жизни борется съ страшнымъ приз-
ракомъ безнадѣжности, никогда не оставлявшимъ его на долгое
время въ покое.

IX

Эта борьба опредѣляетъ собой все творчество пр. Толстаго, въ лицѣ ко-
торого мы имѣемъ единственную приморзу гениальнаго человека, во что бы
то ни стало стремящуюся сравниться съ посредственностью, самою статъ
посредственностью. Конечно, то ему не удается. Сколько онъ не одеревянѣетъ
себя отъ запросовъ своей природы, она каждый разъ сказывается въ немъ бур-
ными и истертированными всплесками. Кажется, что въ „войнѣ и мирѣ“ онъ
уже подвѣсь окончательный итогъ введенью и наблюденіямъ своей жизни.
Все, что онъ видѣлъ закрѣплено опредѣленно и прочно на своемъ мнѣніи.
И, главное, такъ размыщено, что въ общемъ получается ободряющая и радужная

щая взором картинка, несмотря на то, что въ ней ничего не забито изъ тьмы
 ужасовъ жизни, которое подрываютъ доверіе людей къ ближнимъ и Гибель-
 ку. Князь Андрей умиръ мучительной смертію, но въ мучительной жизни,
 Пётръ Ростову француза прострѣлила голову, старая графиня на насилие
 влезать обращается въ полуидіотку, графъ Илья Андреевичъ, разоривъ де-
 тей, незаметно ступаетъ ваваясь, Соня становится приходящей и т.д. Но
 все это такъ расположено на картинѣ, что не только не ослабляетъ, но еще
 усиливаетъ общее, доброе впечатление. Достоевскій никогда не могъ
 постигнуть тайна этой стороны толстовскаго искусства. Въ вообра-
 жая, что громкой окрикомъ, повелительной тонъ, рѣшительность въ утвержде-
 ній, несколько добродѣтели и святого слова всегда способны исправить
 ожившей въ его собственномъ, и вообще въ настоящемъ человеческомъ, сердце
 безпокойство. Такъ напримеръ, въ „Идиотѣ“, роль миротворца и
 душа играетъ князь Мышкинъ, встрѣчается сподрующій характерный
 діалогъ. Понимая полное чуждство въ саду, борющійся на смерти Ипполитъ
 встрѣчается въ саду князя Мышкина и прямо задаетъ ему свой „вопросъ“
 „Скажите мнѣ прямо, спрашиваетъ онъ, какъ по вашему, какъ мнѣ лучше
 всего умереть? Что бы вошло всего добродѣтели въ то-есть? Ну, воришь?“
 Какъ вамъ нравится такой „вопросъ“?! По слову романа князь
 Мышкинъ полагается всегда отличатся; въ положеніи чуждъ всѣмъ
 пожимаетъ и изъ самыхъ трудныхъ положеній выходитъ победителемъ.
 Но, въ такомъ случаѣ, можно думать, что Достоевскій, употреблявъ эту

встретил с Ипполитом, просто рывком помыслив надь своимъ перомъ.
Развъ можно съ иными чинами задавать такие вопросы, на которые,
сколько не дейся, никогда не отвѣтисъ ни тѣмъ тѣмъ, но даже
когда сколько нибудь удовлетворительно? И форма-то вопроса какова: „что
васъ всего допрашивать-то съ?“ Наметисъ, будто Достоевскому, по
старой привычке подпольного человека, вдругъ кудряшомъ захотѣлось
„~~показать~~“ ~~се~~ показать язанъ своей собственной мудрости. И точно,
если вопросъ Ипполита дерзокъ, то отвѣтъ князя Мышкина возму-
тителенъ. Вотъ онъ: „прощайте мило насъ и простите насъ
наше счастье, проговорилъ князь тихимъ (!) голосомъ.“ Ипполитъ
расхохотался ему прямо въ глаза. У Достоевскаго не хватило рыви-
тельности заставить бѣднаго мальчика преклониться предъ безпар-
донною святостью князя. И тихий голосъ, всегда въ такихъ случаяхъ
особенно сильно действующій, не произвелъ никакого эффекта, рав-
но какъ и магическое слово „простите“. .. вѣдь, Достоевскій не
зналъ, собственъ не зналъ, какъ нужно пользоваться такими краемъ-
ми. Вич воображалъ, что достаточно придумать благочестивое казанъ-
нѣ для картинъ — и ея сюжетъ будетъ оправданъ. Или, лучше сказаю,
онъ хотѣлъ родитисъ настоящую отвѣтъ на вопросъ Ипполита, а не
только дать кубикомъ художественное произведеніе. Гр. Толстой гдѣ-то
былъ глубоко убежденъ, что отвѣтъ кѣмъ, а стало быть кудяно не только
читателю, но и самого себя отгдѣлитъ отъ гдѣ-то-ли художествен-

намъ ваятелей „Война и Миръ“ въ этомъ смысле является ме-
 двромъ. Намъ все разсчитано: тамъ и малое и значительное ильются
 своею мутью. Дерзкие вопросы не задаются, но они не только не смущаютъ
 читателя, но даже кажутся, при чтении, разрешенными. Въ умирающе-
 му князю Андрею ничто не приходитъ тихими голосами проща-
 вать о своей провинности въ этотъ миръ. Наоборотъ, окружаю-
 щие — молчатъ и только молчатъ, испуганные и уничтоженные тактве-
 ностью и угрозою событий. Князю Андрею отдаютъ въ погребъ,
 какъ только можетъ скрывать себя уходящий въ иной миръ и никто
 не дерзаетъ еще разграбить его своей требовательностью. И въ это
 единственное истинное, вѣрной способъ основательно, навсегда похоро-
 нить безвременно-умирающего человека. Др. Толстой перенялъ эту обык-
 венную мудрую античную практику. Подобие скорби, покорности, слезъ,
 торжественности — все это открываетъ путь къ новой жизни, все это въ кон-
 цѣ концовъ примиритъ съ какою угодно потерей. Но др. Толстой и
 этого мало. Онъ своихъ мертвыхъ такъ въправдываетъ въ иной миръ,
 чтобы они уже не могли ильть ^{совсемъ} никакого значения для оставшихся
 в живыхъ. Для этой цѣли онъ даже не брезгаетъ пользоваться шпенглеро-
 вой философией, чѣмъ чѣмъ только измысленной согласно съ требованиями
 художественнаго творчества. Князь Андрей, умирая, не обращается
 въ „ничто“ — изътъ, онъ лишь возвращается обратно въ то лоно отъ куда
 онъ вышелъ. Теряется только индивидуальность, но зато настолько те-

За некоторое время

ряется, что еще до смерти все живое, даже соборный викарий, становится ему совершенно чуждым и безразличным. Это есть мопенгаузеровское „бессмертие души“, в изображении г-на Толстого, необычайно утешительно и ободряюще действует на остающихся в живых. Смерть есть продолжение от жизни. „И относительно продолжительности жизни, оно не казалось ему (князю Андрею) больше медленно, чем продолжение от сна относительно продолжительности сновидения“. Приведенные строки взяты г-ном Толстым почти буквально из „мира, как воля и представление“, как и вся теория о смерти. Это странно. Г-н Толстой вообще говоря не любит заимствований, но на этот раз делает исключение. Взгляд Мопенгаузера оказался очень уже соответствующим чуждым минутам. Он обещает, конечно, не настоящее бессмертие, т. е. ~~не~~ бессмертие ^{не} для умирающих, а для остающихся в живых. Но, что станет думать о мерзавцах! Будет себе мирно покоиться в гробу — а живые пусть пользуются жизнью. Поэтому и смерть можно разсматривать не с точки зрения уходящих, а с точки зрения остающихся на земле. Из этого ясна картина изображения г-ном Толстым — верна совершенства. Кажется, будто дошел до предельного человеческого познания, кажется, что еще малая великая тайна жизни раскроется перед тобой. Но это оптический обман. Как только глядишь, как раз наоборот: ^{здесь} ~~г-н Толстой~~ ^{но} ~~сказывается~~ ^{все}, что тайна навсегда осталась неразкрытой. Смерть представляется

испугающее призракомъ, угнетѣющее все въ жизни. У Ницше это еще не такъ замѣтно, его тревожа пошла встала чисто теоретическій, отвлеченный характеръ. Это призракомъ было только скептицизмъ Юма, угрожающій подорвать ^{всѣхъ въ} аподиктичность науки. Но у Ф. Шлегеля столкновение с инстинктами скептицизма: передъ нимъ раскрылась пропасть, грозившая похитить его самого, онъ видѣлъ торжество смерти на землѣ, онъ себя самого видѣлъ живаго трупомъ. Охваченный ужасомъ, онъ пролилъ въ востокъ запроса своей души, сталъ искать у посредственности, у сергуина, у пошлости, въ то почувствовавши, что только изъ этихъ элементовъ возмочно воздвигнуть ту стѣну, которая, если не навсегда, то по крайней мѣрѣ, скроетъ отъ глазъ страшную „истину“. И онъ написалъ свои „Diez an sich“ и свои скептические сужденія а priori, ^{то есть} ~~иными словами~~, указавъ, какъ отгораживаются отъ всего проблематическаго и создаются твердые принципы, по которымъ можно спасти человѣку, Полагая, что законность этого „то есть“ ничѣмъ не станетъ опровергнута; въ то въ апріорныхъ сужденіяхъ существенно не имъ происхожденіе, а имъ аподиктичность т.е. всеобщность и необходимость. Но Diez an sich еще будетъ речею впереди.

Заратустра

X

Нитше всѣмъ говоритъ ученикамъ своимъ: „даже никто не можетъ заглянуть въ мою глубину и узнать мою послѣднюю волю, а изобрѣсть себя должно и свѣтлое молчаніе. Много уличаютъ людей видать: они закрываютъ свои лица и

мутити свою воду, дабы ничей взгляд не мог насмотреться увидеть их. Но мы никак
кричали больше умило и недовольства разведчики и владелицами у них
наилучше скрытую рабу. ... Светлая, сильная, прозрачная люди - самые умило
молчаливые: ибо так глубоко они и, что и самая прозрачная вода не
встретит их. Говорят и пишут не больше такими умило молчаливыми: они
мутити свою воду, но мы ур. Плотному эти слова могут быть пригнаны
целком. Виз - светлая, прозрачная, сильная, - кто может думать, что может
еще спускаться на дно его души, и что на этом дне живут чудовища? Они
и сами любят называть свою жизнь «исключительно статичной в мирском
смысле». И когда в молодости читаешь его произведения, с какой радостью
глядим в эту светлую, ясную, прозрачную глубину. Кажется, что ур. Плотный
все знает и понимает, кажется, что существующая жизнь загадочность и против
борчивость жизни - только соблазнительная приманка для человека, а не
прочность всего существующего - только обманчивая видимость. Непрочность -
для ур. Плотного нечто такого слава. Выполните, пожалуйста, эти мои
книжки. Разве есть такая сложность, которая не была бы разрешена
в уютной столовой Кирилла Ростова, за чайным столом, согревающим
вместо доброты и радости чашками доброй сажи? Правда, теперь при
ехать из Петербурга горюху и сдвиг, прозянувшие как будто нарушить мирное
бытие обитателей ^{дворца} ~~дворца~~. Но ур. Плотный все отказался писать
«Демокритов», а написал «войну и мир». Демокритов, впрочем за Андреем
Волконским, в провождении в область *Being an sich*, куда по теории Канта

и полагается направлять все антиномии человеческого сознания. А для жизни
оставлена априорная сущность, коразительность которых ~~каждому~~ избирается каждо-
м поподходящей для таких групп человек - Николай Ростов. Угодно ли вам
послушать азань априорности? Пьер Безухий, мажкая и шепалава, начинает
рассказывать что-то о своем петербургских сношениях. "В суде воробейство,
в армии - одна пелка: математика, посылание - мучают народ, просвещение ду-
шат. Это молодое, честное - то убивают! Все видят, что это не может так
долго идти. Все слишком натянуто - и скоро лопнет - говорит Пьер (как
с тобой поре, как существуют правительства, внявшие в действитель-
какого бы то ни было правительства, всегда говорят люди)". Это, вы помни-
те, рече скептицизма, Юма. Дайте или прапор, - и все уйдет, потра-
чена на войну и мир оказываются потраченными даром. Необходимо, значит,
изменить направление разговора. И вот слово представляет Николай Рос-
тову. В качестве человека априорного он доказательства не любит и ува-
жает лишь всеобщность и необходимость. Он так прямо и заявляет Пьеру:
Доказать я тебе не могу. Но говорит, что у нас все верно; а этого не
выскажи... И все ли францезы идти на нас (т.е. на Пьера со его петербур-
скими друзьями) и женодропать и рубить - и и на секунду не задумавшись и пойдут...
Неправда - ли чудесно сказано?! Да развѣ, в самом деле Пьеру ^{воз} можно что-
нибудь доказать? И, значит, развѣ какъ не прав, развѣ намъ можно суще-
ствовать без априорных суждений, т.е. без таких, которые подкрепляются не
успешными соображениями, всегда противоречивыми и неустойчивыми, а силой, которую

себя немилостивыми, иначе говоря — необходимостью? Грядущий Толстой неа-
 дожно до „войны и мира“ продолжал целый рядъ оценокъ съ „говорящей“, и
 какъ тово-ростовской съобщаю, или говорящей принципа, а со своей собственной
 оценокъ гениальнаго человека. Вы знаете что изъ этого вышло: не только
 априорналь — почти никакихъ соображений не осталось. А какъ жить человеку
 безъ соображений, безъ ублажений? Великий писатель земли русской увидалъ,
 наконецъ, какъ рождаются ублажения и понял, какое великое преиму-
 щество имеютъ Ростовы передъ Болконскими. Болконскаго и жить отхо-
 вить нельзя. Куда съ нимъ деться? А Ростовы — почти сто летъ жизни
 ему дои, не завеситъ тебя на неизвестной, чуждой путъ (неизвестный
 и ложный, въ данномъ случаѣ какъ извѣстно, синонимъ). И посмотрите,
 какое глубокое уважение питаетъ гр. Толстой къ Ростову. „Дошло, какъ
 завоевать вѣкъ намъ, послѣ ея (Николая) смерти въ народъ хранилась
набожная память о его управленіи.“ Набожная память! Долго хра-
 нилась! Пересмотрите все, что писалъ гр. Толстой: ни объ одномъ
 изъ своихъ персовъ (не говоря о такихъ губительныхъ благодарности и уни-
 ченіи). Но за что же? спросите вы. Умъ заслуживающій этотъ обаятель-
 ный человекъ такую признательность? А вотъ именно своей обаятельностью.
 Ростовъ знаетъ, какъ жить и болѣе потому всегда твердъ. ^{все} Но всеобщую
 писательскую деятельность гр. Толстой ничего такъ не цѣнилъ, какъ определен-
 ное знаніе и твердость, ибо у себя не находилъ ни того, ни другого. Онъ могъ только
подражать Ростову и, само собою разумно, болѣе принужденъ повторять хвалу

своему высокому образцу. Эта „набожная память“, как и весь эпиготизм „войны и миру“ держкий, сознательно держкий вазовъ, Проценкой пр. Толстой велич образованнымъ людямъ, всеи, если почитать, советами нашего времени. И именно сознательный вазовъ: пр. Толстой пожималъ, слишкомъ хорошо понималъ, что онъ утратилъ. „Я преклоняюсь передъ Ростовымъ, а не передъ Пушкинымъ или Шекспиромъ и открыто вслухъ заявляю это“ — вотъ смыслъ эпиготизма „войны и миру“. Забудьте, что въ эпоху японскихъ журналовъ и первыхъ ^{своихъ} литературно-публицистическихъ опатовъ, когда все отрицалось Шекспиръ и Пушкинъ, и въ, по крайней мере, противоблажи не интеллектуальной все помыслил, а все русский народъ. Это еще не казалось ^{что-то} такъ страшнымъ. Русский народъ все-таки боится идею, поверъ самознанию, на которомъ не одинъ читатель или писатель свертывалъ свое заоблачное путешествие. Но Ростовъ — вездѣ въ немъ ничего дави похожего на идею нѣтъ; это — чистѣйшая материя, чистотѣ, неподвижность. И въ немъ рождается приливъ и отливъ „набожной памяти“! Какъ только, после этого, можно поверить, что пр. Толстой наконецъ, наконецъ, что его глубина прозрачна и его оно видно?!. Видно, у Достоевского чутье было лучше, чемъ у другихъ читателей пр. Толстого. Акиа Каренина — совсемъ не несвѣдущая вещь.....

После спора Петра съ Николаемъ, пр. Толстой вводитъ насъ еще на несколько минутъ въ спальни своихъ счастливыхъ паръ. Въ спальняхъ разговора у пр. Толстого

ведутся собствен на особая манера. Супруги никак хорошо связаны между собой, так
близки, так связаны, что понимают адимь другою съ поучебна, съ глагола. Графи
только улавливаются основная мелодия семейного счастья: *Wir treiben kein Famili-
einglied, was höher ^{lockt, das} ist vom Uebel*. Но гр. Фюсткой опять таки чуть-ли не
набавляю рисуеть всю эту идиллию. „Гусь себя Мексико рисуютъ трагедю —
я же никого подобна не хочу знать — можетъ быть у него была такая масть,
когда вы провожали въ спальни свои парю. Но ^{открыто} вы этого не скажете. Откры-
то устраивается торжественный апоэозъ этому семейному счастью, призна-
вая, что все, боги, вассоны, проклянутъ отъ дьявола. Впрочем, одна капля кри-
стл есть въ томъ апоэозе — гр. Фюсткой не удержалась. Но, убо! Ирониз отки-
нулся на въ Ростову, а въ Пьеру, и не по поводу его семейныхъ драматическихъ
дней, а по поводу петербургскихъ замесовъ. Но и то ирониз чуть чуть захотѣла,
всего два раза, словно невзначай, брошено по адресу Пьера шоверко „самодовольство...“
Въ спальни же Ростовыхъ — все чудесно. Графиня Марья даетъ читать сыну
благочестивую литературу своего сочинения и мучаетъ, читая дневники сына,
ознаетъ свое кичливость передъ его дуновной востой. (Врехъ мой, графиня
Марья, по поводу спора Пьера съ киконаемъ, предлагаетъ въ защиту откры-
тости новой аргументъ, который съ удовольствіемъ принимается киконаемъ,
не смотря на то, что, собственно говоря, ему никакіе аргументы не нужны
и что ижеко въ томъ его впекее качество. ... Графиня Марья говоритъ: „но
мою, ты совершенно правъ. И такъ и сказала Катаня. Пьеръ говоритъ,
что все страдаютъ, мучаются, развращаются и что наши друзья — потому богачи.

Разумелся (это "разумелся" великоопытно!) он прав — говорила иронично Марси;
но он забывает, что у нас есть другая ^{ближе} обязанность, которая сама собой указывает
нам, что мы можем рисковать собой, а не глотками. Вот так пишется
история! Но это еще не все. Априорной человек, ухватившись за аргументы
графини Марси, сразу от глотки переходит к разговору о одежде, жизни,
вакцинах, платежах, о своих богатствах. Графиня ^{Марси} такой переход показав несе-
матически разумно: „скажи же мне (мужу), что тебе угодно, чтобы
будет с тобой человек, что бы с ним было много приписывает выности эти
улыбки (поддержку у гр. Толстого), но она знала, что этого говорить не по-
лезно и бесполезно. Она только взяла его за руку и поцеловала, бы прикоснувшись
одежде ее за одобрение и подтверждение его мнений... К сожалению, какая чудес-
ная дерзость?! Укажи, кто из писателей, кроме гр. Толстого, смел так
открыто играть в такую опасную игру! Графиня Марси, „всегда стремившаяся
к безвредному, вичному и совершенному“ как и в чем и бывало соглашается на
самое крайнее лицемерие, как только критикант подкалывает ей, что грозит
опасность прогнать ее „духовного союза с мужем. Вряд ли еще шаль и лицемерие
возводятся в закон, в закон — страшно сказать — совести. Если бы — никакого
мала бояться не нужно, он уже согласен в словах графини Марси. Но, что
иногда так всего, гр. Толстой и виду не подает, что покидает, через какую
пролетит он только что пережить. Он по обаянию ее, с ее тенью, прозрачно.
Начиная с „психологии“ согласен и с того Достоевский! Но гр. Толстой уже иску-
шен. Он знает, что каждый раз когда приближается антипод — нужно ждать

святос, невинное, готски протодушное лицо, — иначе прощая навсегда всякий
 априори, всеобщность, несомненность, прогносты, порба, четочи... И нуть равном
 ому въ дѣлѣ дипломатическомъ искусствѣ. Тутъ, поясеть дѣлѣ, слышывается
 „породо“, происхождение — десятого поколѣнія „случившихся“ предковъ, всегда
 изыдающихся въ породномъ лицѣ... Гр. Толстой, такими способами, достигаетъ
 двойной цели: былъ сказать „правду“ — и правда не подорвана была. До гр. Толстого
 идеалисты не знали такихъ тонкихъ прѣстоуновъ. Ему для своихъ прѣстоуновъ
 всегда требовалась и грубая лопатка, и „порба“ чувствъ, и красноречіе, и лихора, и даже
 иубошны краеніи.

Если бы Достоевскій вспомнилъ эпизодъ въ „войнѣ и мирѣ“, онъ бы похвалился, что сер-
 дитъ на Левина за его безтактные отношенія къ боготвѣчнымъ словамъ — сѣть ака-
 дронимъ. Сердитъ нутьмо было раньше — за „войну и миръ“. Если же „война
 и миръ“ принята, то приходится принять и „Вину Каренину“, цѣлкомъ, безъ
 всякихъ оговорокъ, съ послѣдней частью. Въдо въ сущности и славянскій грѣхъ
 большаго нуталнища. Въ нуть красавица одна изъ антихристовъ — убивать или не
 убивать. Намъ отъего бы не отнестъ нуть въ ding an sich? Внѣшю бы не пре-
 доставитъ нуть, какъ предлагаетъ Левинъ, въ исключительное свѣдѣніе прави-
 тельства, паче нуть примѣръ предковъ, передающихъ всю грѣхъ правленія наро-
 дѣ призваніемъ заморскихъ князьковъ?

Вся дѣятельность гр. Толстого, включая его послѣднія философи — публицисти-
 ческія статьи и даже романъ „воскресеніе“ /одно изъ немногихъ, почти единствен-
 ныхъ относительно неудачныхъ произведеній — въ немъ гр. Толстой словно собираетъ

кроме отъ своего собственнаго, когда-то роскошнаго стола) не выходятъ за пределы
указанной мной задачи. Въ во что бы то ни стало хочется приручить только бы-
шек и амбигуэ, которые называются иносказательными словами шептицкимы и пессе-
мизма. Они не скрываютъ намъ отъ нашихъ глазъ — но держатъ въ крѣпчай-
шихъ и надеждѣйшихъ ^{навыкъ} (нѣтъкану, т. е. и самый недовѣрчивый телесомъ казуса-
етъ имъ считать монахами, и вѣки землерекномы. Последняя формула гр.
Платона, которой подводится итогъ всей его исцѣлительной оливогной бѣды
и которую онъ особенно торжественно возвысилъ въ своей книгѣ „что такое
искусство“, гласитъ: „добро, братская любовь — есть Богъ“. Говоритъ о ней зрѣло
не буду, такъ какъ имѣетъ силу въ другомъ и вѣтъ подробно объяснить ея
смыслъ и значеніе. ¹⁾ Я хочу только напомнить, что и это „убѣжденіе“, кото-
рое, по истинному увѣренію гр. Платона, имѣетъ своимъ родителемъ
истинный ^{правильно} разумъ и совѣсть, собственъ не такого уже благороднаго происхожденія.
Это породило въ томъ-же отрывкѣ предъ Ding an sich, все такое стилистиче-
ское стремленіе, падающее къ Канту, какъ еще недавно воевали или воевали
представители позднѣйшей индийской философіи, вѣсилу котораго вѣровало и вѣровало
и изъ Андриэ, возвышалась Растовъ, потѣшная мизантропія и др.
Вѣдомо-то, какъ мы увидимъ ниже, коловѣи, представлялось гр. Платону
какъ величайшая и возвышеннѣйшая истина, казалось, можно казаться,
кощунственной, безобразной и отвратительной любовью Достоевскому.

XI

И такъ очинъ изъ способовъ добра ^{отъ} пессимизма и скептицизма есть
„добро въ ученіи гр. Платона и Ф. Ницше.“

создание акриориса ~~и~~ сущностей и Ding an sich, коротко идеализм, который
 пр. Платон формулирует в слове „добро есть Бог“. Но, вопреки с тем, что из пре-
 дущего следует, что идеализм нуждается в вившей опоре. Левину необ-
 ходимо было и житься на Нити, повести хозяйство, ходить на охоту и т.р.
 и пр. Одного „разума“ оказалось недостаточно для возведения этой воздушной по-
 стройки. Потребовалось „материальное“, осязаемое материальное основание. Но —
 основание лежит под ногами земли: его никто не видит. Это всегда было посто-
 янно торжеством всего „восьмого“ на земле. Выполните хотя бы родоначаль-
 ников ^{европейская} идеализма — Сократа и Платона с их учением о добре. Казалось,
 оно соткано из чистейших и безплотнейших идей, презрительно оторони-
 цки от всякого соприкосновения с тем, что не происходит от раз-
 ума. Однако, в чистую область идей контрбанда была все же пропущена —
 и канат контрбанда! Оказывается, что учение о преимуществе добра
 над злом не может — и почти готово сказать не хочет — держаться
 одной диалектикой, как бы „божественна“ она не была. Для своего за-
 нятия оно нуждается в такой грубой, такой материальной вещи, как
 была в воздаянии. Робертсено говоря, что еще нужно, после того как
 доказано, что исполнять несправедливости лучше, чем пригнать ее?
 Но, на самом деле этой мало. В диалогах Платона (Горий, Государство,
 Редон) на поддержку добра призывается самое обиходное человеческое
 средство. Там объявляется, что злое будет наказано в свое время, хотя
 (в будущей жизни), а добро вознаграждено. ... Разъ добро принадлежит

такое несовершенство, — то, пожалуй, можно было бы и всякую ди-
алектику оставить в покое. Своей неразвитой умъ способенъ понять преимуществъ
добра, илищаго за собой, хотя и далекаго, но советить по земному утешению
и притомъ всемогущаго защитника. Но страшно было! Сократово ~~и~~ Плато-
новское воззрѣніе въ падежъ во время почти идеалистическихъ системъ
нравствѣнности. Все моралисты считали исходившимъ отъ самого
Бога покровительство добра или даже, какъ у Платона, отъ отъдѣляющаго добра
отъ Бога (это въ позднѣйшее уже время — время позитивизма, эволюции и т.п.)
Очевидно, добро ^{моралистовъ} (само по себѣ, а не *сich*, представлялось не очень привлекающимъ
людей и люди принимали его только изъ боязни возбудить противъ себя
гнѣвъ всемогущаго существа. Идеализмъ далеко не такъ идеаленъ, какъ
можно было ожидать въ виду той торжественности, съ которою возму-
тали его провозвѣстники. Въ концы концовъ онъ являетъ саими зако-
ни падежамъ нею а priori и Ding an sich — только всомнѣніи, что
оно или онъ оправдываетъ себя отъ болѣе трудныхъ запросовъ чувствен-
ной жизни. Въ этомъ смыслѣ идеализмъ подобенъ восточной деспотіи:
снаружи все блестяще, красиво, высоко, внутри — все ужасно. Въ этомъ и при-
чина того непонятнаго чуждѣнія, что такое невинное на первый взглядъ
ученіе такъ часто гонимъ предвѣстникъ самой ожесточенной ненависти со
стороны людей, чуждые всего заслуживающихъ подозрѣнія въ „природной“ злобѣ
чуждѣ. Но можно съ увѣренностью сказать, что всякій непримиримый врагъ идеа-
лизма ^{самъ когда-то} былъ какъ Достоевскій или Ницше, крайнимъ идеалистомъ, и что „несколько

такъ по^ино расцвѣтшая въ новое время естъ одно изъ отступническихъ идеа-
лизма. И въ самомъ дѣлѣ, съ тѣмъ ба чловѣку начатъ лизитъ въ глубины
своей души, зачѣмъ противитъ върованію, несомнѣнно быстѣицію, красива,
интересна? Декартова de omnibus dubitandum путь, конечно, не при чѣмъ:
изъ ^{за} методологическаго правила чловѣкъ ни за что не согласится терять подъ
собою почву. Скорѣй наоборотъ - потерянная почва полагаетъ начало всякому
сомнѣнію. Вотъ, когда оказывается, что идеализмъ не выдерживаетъ напора движенія
теловности, когда чловѣкъ, столкнувшись волею судьбы лицомъ къ лицу съ какою-
либо жизнью, вдругъ, въ своемъ чужаку видитъ, что всю красоту априори бали
любви, тогда только впервые овладѣваетъ имъ тотъ безудержно саживимъ, который
въ одно мгновѣніе разру^ишаетъ казавшіиися столь прочными стѣнами стѣнъ
воздущныхъ заливовъ. Сократъ, Платонъ, добръ, гуманность, идеи - все соимъ прев-
нимъ ангеловъ и святыхъ, обертаившихъ невинную чловѣческую душу отъ папачей
Знакъ демона сентиментализма и бесчеловѣчія, безотвѣдно исчезаетъ въ пространствѣ
и чловѣкъ предъ лицомъ своихъ чужацкихъ враговъ впервые въ жизни испыты-
ваетъ то страшное одиночество, изъ котораго съ не въ силахъ вывести ни одно,
самое преданное и любящее сердце. Здѣсь то и начинается философія трагедіи.
Каждого пошиба на всегда, а жизнь - есть, и много еще жизни впереди. Умереть
нельзя, хотѣ ба и хотѣла. Ошибался древній русскій князь, когда говорилъ,
что мертвые срама и пыль. Спросите Достоевскаго. Въ самомъ вѣдѣ
устами Фимитрія Карамазова имѣетъ: „много узналъ я въ эту ночь. Узналъ,
что не только жить, но и умереть пожелать невозможно.“ Понимаете?

боль важнее, а тем же образом гуманности. Это суждение критика основывается на том предположении, что гуманность несоизмеримо выше, лучше жестокости. ... Несомненно? Но где же декартовское правило, которое сейчас уже рвет, где *de omnibus dubitandum*? Очень, конечно Н. К. Михайловский был ослеплен. Но оно, по своему объективному состоянию безразлично, отчасти зная, что ему всегда нужно приходить к помощи, если оно окажется блатом всенепи. ...

Михайловский Н. К.

Потом же Н. К. Михайловский, в другой своей статье, говоря о Прудоне передает целый ряд фактов, доказывающих, что знаменитый француз, с именем которого в России связывали представления о лучшем борце за высокие идеи был в жизни „пугубым человеком“. Свой рассказ он заканчивает следующими словами: „сказать не всемо подбирать эти тусклые черты, и т. д. подбирал и, прикладывая отраву кичу от сердца“. И затем, непосредственно в эти же, по странной ассоциации идей, прибавляет: „это — не правда!“ Не знаю, как другие читали, но, что касается меня, то я именно подумал, что приведенная слова — правда. ^{Ничего} ~~Ничего~~ Н. К. Михайловскому не пришлось отравить от сердца. Это не значит, что он был равнодушен к прудоновским идеям. И еще менее я хотел бы сказать, что Н. К. Михайловский склонен к ^{ради разговору} ~~пугубым~~ разговорам. Наоборот, в его произведении „Правда“ встречается так же ясно, как и добродетель других писателей серьезная мысль. Но на этот раз факты были несомненные, потому и потребовалась отоварка. Отвечу, даже такое неослабное откровение, что творец высоких идей был

Въ жизни не собственъ честности честности, не можно поразить Н.К. Михайловскаго.
Онъ самъ смущенъ своимъ спокойствіемъ и не умѣя обяснить или не имѣя вре-
мени подумать надъ такимъ страшнымъ явленіемъ, спѣшилъ замаскировать
сво маблонкой, залетавшей въ память фразой. Въ этомъ, незначущемъ на пер-
вой взглядъ психологическомъ фактѣ выразилось очень много. Для Н.К. Михай-
ловскаго (хотя и въ своей стѣнѣ и утверждаетъ обратное) само Прудонъ
побѣдителю ничего не значащ. Прудонъ лишь воплощеніе великой идеи
гуманности (да будетъ мнѣ дозволено пользоваться этимъ словомъ въ са-
момъ широкомъ смыслѣ), ну а развѣ цѣлая армія Прудоновъ можени-
новъ, да еще Прудоновъ разбойниковъ и убійцъ могла бы набраться потѣ такъ
сложныхъ на великіе идеи! Гуманность держится не авторитетомъ фран-
цузскихъ писателей - она часть души самого Н.К. Михайловскаго и часть
самаго прогност. Въ этомъ и въ самомъ вообще хорошо говоритъ въ предисловіи
къ новому изданію своихъ сочиненій, въ предисловіи, поводящемъ и тому же ми-
лостивѣйшей литературной внимательности: „всякій разъ какъ лишь приходитъ
въ голову слово „правда“ и не могу не восхищаться его поразительной внут-
ренней красотой. Такого слова нѣтъ, кажется, ни въ одномъ европейскомъ
языкѣ. Кажется, только въ русскіи истина и справедливость называютъ
однимъ и тѣмъ же ^{словомъ} ~~именемъ~~. И какъ бы сливаются въ одно великое чувство.
Правда въ этомъ огромномъ смыслѣ слова всегда составляла цѣль моихъ
исканій... Я никогда не могъ повторить и теперь не вѣрю, чтобы не было
никогда найти такую точную эротику, съ которой правда-истина и правда -

справедливости являлись бы рука об руку, одна другую попиливая. ^{Вот эти}
^{слова —}
~~истинное~~ объяснение того, почему Н. К. Михайловский отчасти совершенно
 спокойничал, а вела свое откратис о Прудонизме, ^{он же знает} ~~и слышал~~, что в та-
 ких случаях полагается очень сильно ^{сигаретам.} ~~смеряться~~. Это Прудонизм, когда есть
 условная в души (вара в ~~идею~~, вара, ~~прогнан~~) ^{прочный как} идея, практик, а не фетишизм,
~~идея~~ ^{идея} перуноворное! Вот эта-то непонятливая вара в идею, в умлен-
 ность, в правду, которая приняла как практик второстепенной вавиати
 откратис о Прудонизме / впрочем, Н. К. Михайловский глаголет в своей бисниги
 ожно такое откратис и не раз удивлялся черствости своей души и даже,
 быть может, бичевал себя за то) понимал критику остановиться
 в виду необоратного ^{случая} ~~факти~~ „жестокости таланта“. Вроде не жестокая бес-
 щадность — а жестокий талант, т. е. то свойство человека, по поводу кото-
 рого и самые крайние позитивисты не стесняются вспоминать или Бодье
 и впрочем талант называется в условности и жестокости. Но Н. К. Михай-
 ловский один из тех чистых и избранных, которых рано всю
 жизнь служил одной идее. Таких людей и идеи случаются, оберегая их
 от ужаснейших переживаний. Не то было со Достоевским. Ему не удалось
 остаться до конца жизни крепким своей молодой вара. Он был ограничен
 на устал переживаниями, измывками, предателя. Таких людей идеи
 мстят, и мстят безжалостно, неумолимо. Ныть позора, невидимая,
 внутренняя, ныть унижения, которое бы не выпадало на их долю. Которая
 Достоевского продолжалась и четаре года, а всего жизнь. ... Н. К. Михайловский,

конечно, правъ, когда объясняетъ мировоззрѣніе Достоевскаго въ пессимизмъ и испатализмъ. Но вопросъ въ томъ, действительно ли такіе испата-
лизмъ и патализмъ людямъ видѣть истину? Не наоборотъ-ли? Вѣдь можетъ
бѣть, что обаяніемъ жизни среди обаятельныхъ людей даетъ и философія обая-
тельности! А кто поручится, что именно такая философія нужна лю-
дямъ? Можетъ бѣть, что въ оторванности истину, нужно прежде всего освобод-
диться отъ всякой обаятельности! Иначе это каторги не только не исправ-
ляетъ „убогородцевъ“, но оправдываетъ ихъ; и пестоящая, истинная фи-
лософія сѣть философію каторги... Если все это такъ, то, значитъ, и
гуманность, родившаяся среди волчьихъ людей, не вправъ тащить въ все-
токость въ позорному столбу и попрекать ее за таинство, каторжники
приспосабливать, и должна уступить своей униженной противнице
всю исцеляющую права и преимуществъ, которыми она до сихъ поръ пользова-
лась въ мірѣ и прежде всего блестящую свиту поэтовъ, художниковъ,
философовъ и правдолюбивъ, которыхъ въ терни ^{надежно} таинство ^{расторган}
ей всякія похвалы...

Во всякомъ случаѣ, справедливость требуетъ отъ насъ, ~~по крайней~~ ^{по крайней} мере
по крайней мерѣ безпристрастно и внимательно вслушаться похвалу,
мелочную чловѣка, не слушающа ни страхамъ гр. Достоевскаго, ни кепко-
любной второй въ правду Н. К. Михайловскаго

XII.

{Въ подпольномъ чловѣкѣ} Скептицизмъ и пессимизмъ возбуждаютъ въ подпольномъ

человек, такой он мистический человек, как и в гр. Тихомире, но вернутесь к обаянности,
 да все прилично притворитесь перед собой и другими верящими к обаянности (он же
 любит быть пошлым на это) ему не дано. Он знает, что более-более порока, что
 зрания, все рецепции, перуотворности - все то, словом, на чем люди основали до
 сих пор свои „прогнозы“, все их априори для него безвозвратно погибли. Он
 с дерзостью и иллюзией надежды сразу рвется перейти за роковую черту, сде-
 лать тот страшный шаг, от которого его предостерегали и заставить прощания
 и собственный опыт уже прожитых сорока лет. Подвиг идеализма свои
 неспасения и сомнения - невозможно. Все попытки добра в этом направлении не приноси-
 ли пользы: „тот прекрасный и высокий стиль“ так подавило жить за пологом в мо-
 сквитской „⁴“, ~~как~~ говоря у Достоевского с его подпольным человеком. Встает одна-
 коственная бесплодная борьба и пойти вперед за скептицизмом и нигилизмом, по-
 смотрит - куда они приведут человека. Это значит сказать себе: „все, что
 цыкло, все что считалось прекрасным и высоким - в этой жизни для меня закры-
 той книга. Но я живу еще, я буду еще долго жить в чужих, страшных условиях.“
 „Мне создать себе и себе свое прекрасное и высокое.“ Иначе говоря казничает „пер-
 оушка вольных цыклопостой“. Идеализм, совершенно пропавший для себя, обращается
 из безгрешного судьи в подсудимого. Достоевскому тогда вспоминается, что он
 когда-то сам был идеалистом. Он тотчас отрывается от своего грешного и за не-
 возможностью обмануть себя, старается представить себе свою идеальную жизнь
 в ином свете, придумывает себе слышащий вид обстоятельств. „У нас,
 русских, вообще говоря, никогда не бывало шума, как у вас, и не было осо-

Беспо французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть замри
подъ ними трещи, хоть пошлой вь Франціи на баррикадах - они все ть-же, даже
да прикидъ не измѣняются и все будутъ тѣмъ свои назвѣздки тѣмъ, такъ
скажутъ по гробъ свои души, потому что они дураки. У насъ же, въ русской землѣ
потъ дураковъ... "!) У насъ будто у насъ потъ "дураковъ"?! А кто по потѣ воспомина
Макара Добушкина? Кто обливаясь слезами надъ Катюшей даже въ тѣ пору,
когда замри еще трещала подъ ногами? Уа, этихъ страницъ прощало не вѣст-
рабисъ изъ памяти, сколько не хитри. Изъ всего нашихъ романтиковъ, до тѣхъ
сми балъ сказать мѣтательномъ, саманъ назвѣздки, саманъ искреннѣ.
Теперь, когда наступилъ страшный судъ и когда они увидѣтъ, что порядокъ на
тѣхъ судъ иной, чѣмъ обѣщали Сократъ и Платонъ, и что не смотря на его
доброутѣли, его чѣ тѣмъ ему подобны, заглади ошью, онъ нечетъ потъ кем-
про оправдаться. Можетъ быть въ вспоминая - въ тѣмъ случаѣ, какъ из-
вѣстно, напѣтъ бабаеъ всегда назойливо услужливи вой - можетъ онъ вспоминая,
что онъ въ его и предприслалъ. Ему говорили, что цѣлой сотнѣ праведниковъ (не
обрадуются на судъ, ~~такъ~~, какъ одному раскаявшемуся грѣшнику. Въ долбѣ
балъ ба почитъ, что праведники, все эти "назвѣздки романтики" снѣжаеъ
грянули и на послѣднемъ судѣ, въ качествѣ грѣшниковъ людей, не могутъ
развѣтѣтъ на прощаніе. Но прежде они не слѣшали или не понимали предо-
стѣржающаго голоса, а теперь - теперь уже почти поздно, теперь раскаяніе,
раскаяніе - уже ни къ чему. Онъ ошуденъ и, конечно, навѣки. На страж-
потъ судъ потъ иномъ приговоровъ. Это не то, что у гр. Толстого, въ его

гротамъ съ совѣстью, налагающей приговоръ, условия, чуждыя себѣ, въ ко-
 торыхъ есть и правда, и мнѣніе и -главно- обличающіе прощенья. Путь про-
 щенья и есть. Но, что еще хуже, здесь и развивающійся, къ которому такъ всегда
 разсчитываютъ моралисты, не помогаетъ. Вотъ вамъ свѣдѣтельство свѣду-
 щую въ этихъ гротамъ погрѣбникаго человека: ... „передъ стѣной непосредствен-
 ные люди искренно пасуютъ. Для нихъ стѣна не отводъ, какъ напримѣръ
 для насъ... не предлогъ воротиться съ дороги. Къ нѣ, вы пасуетъ со всей
 искренностью. Стѣна имѣетъ для нихъ что то успокоительное, нравственно
 разрешающее и окончательное, пожалуй даже что то мистическое¹⁾
 Языкъ, конечно, иной - но кто не узнаетъ въ этой стѣнѣ наитовещеніе а priori,
 поставленное предъ Богъ и себѣ? Приговоры они очень удовлетворяли, не
 Достоевский, которому больше всего на свѣтѣ нужно было это „успокоительное,
 нравственно разрешающее и окончательное“ разна только предположеніе лич-
 нѣ расшибитъ голову о стѣну, чтобы примириться съ ее непроходимостью.
 „Страшно впасть въ руки Бога живаго!“ Во видѣте, что „вѣчная“ истина
 была придумкою туррециани не столько для утѣшавшихся въ утѣшеніи,
 сколько для утѣшителей т.е. для себя самихъ. Вотъ этой мысли Достоевский
 приходитъ въ голову. Въ до вѣ-ти всей своей жизни, вѣдомъ своимъ прошлымъ,
 олицетворяя идею утѣшающую. Вы утѣшались бая ^{романтизмомъ} ~~нигилизмомъ~~ утѣшались
 людей вѣрить, что ужасная судьба униженіемъ и оскорбленіемъ искупается сле-
 зами и добродѣтими чувствами читателей и писателей. Это счастье, его вдохнове-
 ніе питалось „постыдными словами“, „братомъ“...²⁾ Лишь тогда, когда

человек воочию убедиться, что такую безобразную ложь он мог вполне год-
лявить в душе своей и чтить, как великую истину, лишь тогда он начина-
ет пожимать, как нельзя верить, идеалам и в такие прекрасные и соблаз-
нительные формы могут облекаться самые низменные побуждения наши,
если нам нужно взять власть над нашей душой. И тогда, что может быть
успокаивающей мысль, "бодкая мысль", орошающая свой потресканный и увядший
спасами Макара Довбушкина и Натани?

Первое аска, отчего Достоевский не может возвратиться к предельному упо-
коению, к той ступени, которая заключает в себе столько нравственно
разрешающего и окончательного для непосредственных людей. Лучшее наше
уроки правда, что и такая ложь, говорить он себя, и отсюда у него то му-
жество, с которым он выживает в людской действительности. Должны ли быть
безнадежные, но тем не менее справедливые искания Макара Довбушкина: "от медведя
та побьжешь, но встретишь на пути будущее море, к нему и впе-
рейдешь назад?" Достоевский побьжаш от действительности, но
встретив на пути идеализм - пошав назад: все ужасы жизни и
такая страшно, как судимая совесть и разумные идеи. Если бли-
зятся слезами над Довбушкиным - лучше правду объявить: пусть свет
превратится, а что от него той баш. Не могло было Достоевскому принять
такую "правду", да и что с ней делать человеку, у которого в прошлом
Макар Довбушкин и Катерина, а в настоящем - надругал и все прелесть
жизни из года в год обещалось, уже не молодая, но поэтично начинающая

петербургского писателя? Когда-то думали, что „истина“ утешает, укрепляет человека, поддерживает в нем бодрость духа. Но истина подполье совсем иначе устроена, чем ее великодушная предшественница. Она и мало по думает о чужих, а, если, метафизически вражась, ей и можно приписать кой какие намерения, то во всяком случае никак не благосклонная. Успокаивает — не ее дело. Воть разве напугать, обидеть — на это она еще способна:... „Закона природа постоянно и больше всего во всем обижала меня“, рассказывает подпольный человек. Удивительно-ли, что у него не может быть ни любви, ни к истине, ни к идеалу, если ты и другие, то в форме законов природы, то в форме всяких учений о нравственности, только и знали, что оскорбляют и унижают ни в чем неповинные и бедные добрые существа? Тогда можно ответить таким властелином? Какое чувство, кроме восторженной, неумеренной ненависти можно питать к естественному порядку и к гуманности? Спенсер проповедовал приспособление, моралиста — покорность судьбе. На все это хорошо при предположении, что приспособиться еще возможно, а покорность принесет хоть бы покой. „При предположении!“ Но психология уже показала нам, что все предположения придуманы только для предположающих и эти даже гр. Толстой принимал участие в заговоре против унижения и оскорбления.

Из этого призна, почему Достоевский, к удивлению его современников с та-
ким ^{упорством} отрицался благочестью перед гуманными идеями, так

Безраздельно господствует во вавилонии в шестидесятых и семидесятых годах
в нашей литературе. Н. К. Михайловский справедливо видит в нем
„эпохальную ошибку“ человека (как только тытть и пишеть заборона на
страница сочинений Н. К. Михайловского — мы приехали его встречать
в ином месте). Как, например, подпольный человек рассуждает
о „будущем счастье человечества“ т. е. о том краеугольном камне, на
котором покоились и до сих пор покоятся все „убождения“ гуман-
ных людей! „Тогда-то, говорит он, наступит новая экономическая
отношения, совсем уже готовая ..., так что в огнях мира исчез-
нут всевозможные вопросы собственно потому, что на них получатся ве-
роятные ответы. Тогда востанет хрустальный дворец. Ну, словом
тогда прилетит птица Казань.“ Видно, что говорит эпохаль-
ный человек, полагая, что он такой же и близкий к своим близким
но эти еще ничего: пока только одна проба. А дальше следует уже
почти призыв к „господу“. „А, например, продолжат он, насколько
не удивляться, если вдруг ни с того, ни с сего, среди всеобщего будущего
благоразумия возникнет какой нибудь джентльмен с неблагодарной
лучше сказать с ретроградной и пассивной физиологией, упрямый
в боча и скажет нам всем: а что, господа, не стоит ли нам
все это благоразумие с одного разу, по той причине, единственно от той
причины, чтобы все эти потерянные отправления к горлу и чтобы нам
опять на своей воле пожить? “¹⁾ Очевидно, в нем есть тут дело

¹⁾ Записки из подполья, 90.

не съгласен такъ. Достоевскому не до спора, совѣтъ не до спора въ
 воде не чуждъ, а свои собственная надежда убиваетъ. „Я это говорилъ
 вовсе не потому, что у насъ такъ любя мой языкъ вѣстала тѣ, при-
 нятъ въ даль. Я, можетъ быть, на то только и сердился, что
 такое званіе, которому бы можно было не вѣстала языкъ, ~~даже~~
 въ вѣхъ вашихъ званій до сихъ поръ не находитъ. Теловѣкъ съ ретроград-
 ной д. и насильственной фризіономіей тутъ, значитъ, не при чемъ. Вопросы
 идутъ о томъ, можетъ ли примиритъ ~~до~~ преступные званія Доста-
 евскихъ съ его прошлой, настоящей, съ его вѣчной каторгой. ? Контрастъ
 на него дается только отрицательный: нѣтъ, не можетъ. Если задача чело-
 вѣка обрѣсти счастье на землѣ, то, значитъ, все, на всегда погибла.
 Эта задача уже невыполнима, ибо развѣ будущее счастье можетъ
 искупить печаль прошлаго и настоящаго? Развѣ судьба Ма-
 кова Добушкина, которую описываютъ въ XIX столѣтіи ста-
 новится лучше оттого, что въ XVIII столѣтіи никому не будетъ дозволено
 обижать своего ближняго? Не только не лучше, а хуже. Нѣтъ, если уже на
 то пошло, такъ пусть-же навѣки неслать живеть среди людей, пустьъ
 и будущимъ Макаровъ описываютъ. Достоевскій теперь не только не
 хочетъ приготовить основаніе для будущимъ великолѣпной хрусталь-
 ной дворца, — онъ съ ненавистью, злобой, а вѣстать съ тѣмъ и съ тайной
 радостью зараженъ торжествуетъ при насъ, что вѣгда найдется какой-
 нибудь расклевыватель, который не дастъ вообрѣзаться на землю благополучія.

Достосвѣдѣнъ — лицо, конечно, очень фактическое; для человека верующаго онъ, разумеется, не доводъ. Но въ доводъ и не въ доводъ его. Сущность въ томъ, что Достосвѣдѣнъ не хочетъ всеобщаго счастья въ будущемъ, не хочетъ, чтобы это будущее оправдало настоящее. Онъ требуетъ иного оправданія и лучше предпочитаетъ до изнеможенія копоться голуби отъ стѣны, чѣмъ успокоится на туманномъ идеалѣ. Люди избрали себе бланый уютъ, спасающій предъ стѣной. Но такая доля уготована не для всѣхъ. А религія существуетъ только для непосредственно ^{натуръ:} ~~идеали~~. А что остается Достосвѣдѣнному?

XIII.

Въ запискѣ изъ подполья Достосвѣдѣнъ отрывается отъ своихъ идеаловъ, отъ тѣхъ идеаловъ, которые, какъ ему казалось, онъ вѣнчалъ не трипутью изъ матори. Я говорю „казалось“, ибо на самомъ дѣлѣ то, что онъ принималъ во время своей жизни въ отрогъ и въ первое годъ свободы ^{дала лишь} за идеалъ, — надеюсь теперь это очевидно — обманывалъ себя, что поокончаніи срока наказанія, онъ стаетъ свободнымъ вольнымъ членомъ. Какъ и все люди, онъ принималъ собственную надежду за идеалъ и торопился сорвать изъ себя все воспоминанія о каторгѣ или по крайней мѣрѣ приспособить ихъ къ условіямъ новой жизни. Коси етаранія ни къ чему ни, вѣрнее, почти ни къ чему не привели. Которъ-то изъ истины, какъ онъ ихъ не прилагивалъ и не прибиралъ, сохранили слишкомъ явное слѣдъ своего происхожденія. Изъ подполья

и были у боробы многой на читателя упрямая, ипеймная лица, фронт
 виднылись бритая голова. Въ шумных прохилих словъ слышала звонъ
 чуждей. Только „Записки изъ мертвого дома“ были приняты публикой
 и критикой, какъ почти свое, обидное, вольное. И точно, въ этомъ про-
 изведении Достоевскій проявляетъ — одинъ разъ въ жизни — почти толстов-
 ское искусство примирения противительности въ принятых идеалах
 ми. Читатель уходитъ отъ „Записокъ изъ мертвого дома“ просвет-
 ченнымъ, возвышеннымъ, умилительнымъ, готовымъ на борьбу со зломъ,
 и т.д. — совсемъ какъ того требовала современная эстетика. И, кстати,
 въ своемъ возвышенномъ настроеніи и въ своей готовности, читатель
 самого Достоевскаго такими же хорошимъ и добрымъ человекомъ, какъ
 и самого себя. А между тѣмъ чуткою вниманіемъ и поменьше вос-
 торженности — и въ „Запискахъ изъ мертвого дома“ открываются
 такіе перлы, какими и въ подполье не найдешь. Напримеръ, вотъ
 бы эти заключительныя слова романа: „сколько въ этихъ тѣлахъ
 погребено напрасно молодости, сколько великихъ силъ погубило зрясь да-
 ромъ! Въ годъ надо уже все сказать; въ годъ этотъ народъ необъясни-
 мой боль народъ. Въ годъ это, можетъ быть, и есть самый даровитый
самой силой народъ изъ всего народа нашего. Но погубили даромъ
 могущія силы, погубили ненормально, незаконно, безвозвратно... Кто изъ
 русскихъ людей не знаетъ этихъ строкъ наизусть? Да и не имъ ли напо-
 ловину обязаны романъ своей славой? Знаютъ ли только же Достоевскій

принарядить эту безобразную и отвратительную ипостас. Но кто? Ду-
шевные люди живут в каторге?! Самые даровитые, самые
сильные, необаянские народы — это убийца, вор, поджигатель, разбой-
ники! И кто так говорит? Зеленко, живший со Швайнсони, Некра-
совым, Пуртевалем, Григорьевым, со всеми теми людьми, которые до
сих пор считались красой и гордостью России! И имь предложено же-
нить обитателей мертвого дома? Но ведь это — настоящее безумие.
А между тем два поколения читателей видны в этом же со-
знании вращение васовой гуманности Достоевского. Полагали, что
это он — тот же в смиренности своем, в своей любви к ближнему на него
подъ воспринимает пошлого человека. Даже для критики не отпа-
дали, что происки на этот раз в своей энергии захватили уже сли-
шком далеко. Только в самое последнее время, наконец, обратили
внимание (и то, собственно говоря, случайно) на несообразность тако-
го смирения. Но все же не осмелились открыто упрекнуть Достоев-
ского — до того уже упрочилась репутация святости за приведи-
мость оправдать. Постарались только ослабить ее значение соответ-
ствующей интерпретацией. Удали указавать на то обстоя-
тельство, что во времена Достоевского каторжники собственно не были
настоящими преступниками, а были только протестантами — муче-
ны, возмущавшими против безобразия крепостных порядков.
Объяснений, хотя и запоздалых, но, конечно, необходимых. К сожалению,

же, какъ онъ, съ ними сравненъ и даже приравненъ къ низшей ступени его "1)
Но какой же это народъ-то люди, съ которыми жилъ Достоевскій? Это -
каторжане, это тѣ элементы, которые народъ извергаетъ изъ себя. Жить
съ ними значитъ не сойтись, не соприкоснуться съ народомъ, а уйти отъ него
такъ далеко, какъ не угодишь ни однимъ изъ произволовъ или посяевъ
заграничной абсентеистовъ пачки. Этого не должно ни на минуту забвѣ-
вать. А если такъ, то стало быть и все благоговѣиѣ Достоевскаго предъ
народомъ, которое дало ему столько преданій и страстныхъ пожелан-
нѣй, отъ которыхъ къ своему своему божеству и русскіе, вѣрующіе чи-
татели были жестоко и несомненно обмануты своими учителями. Правда,
Достоевскій былъ не первымъ учителемъ, обманувшимъ своихъ учениковъ.
Но на такую подлость не у многихъ хватило бы мужества. Я полагаю,
что и самъ Достоевскій, не смотря на свою необыкновенную пронырли-
вость и чуткость ко всему, что относилось къ идеаламъ и вѣрѣ (онъ ав-
торъ "вселемъ и кибизитора") въ данныхъ случаяхъ не ^{вообще} ~~совсѣмъ~~ давалъ себѣ
отчетъ въ томъ, что онъ дѣлалъ. Онъ не хотѣлъ вѣрить въ каторжанъ
и, если, въ приведенномъ отрывкѣ изъ "мертвого дома" возводитъ ихъ на
столь недостоиную пьедесталъ, то лишь въ слухной надеждѣ, что каторжанъ
таковы все же еще можно будетъ подвигнуть болѣе высокой идее. По крайней-
мѣрѣ въ эти своихъ соображеніяхъ Достоевскій всего одинокъ только разъ открыто
преклонился предъ своими товарищами по заключенію. И то, вѣроятно, по тому
что "затиски изъ мертвого дома" своими общими характеромъ устраиваютъ

всякую возможность порождать у читателя. В них столько умиления
предъ добротой, столько чудотворности. Читатель уже давно перестал при-
матриваться къ отрывочным мыслям: говорит, что хочешь, все сойдетъ за вѣсо-
ную идею.

А между тѣмъ (вѣдь, вѣдѣекая догма въ Сибирь испанскія боли и тѣмъ
по своему значенію по сравнению съ этой страшной неотвратимостью приключеній
предъ нами. „Знаешь-ли ты, мой другъ, слово презрѣніе? И мнѣ
твоей справедливости быть справедливой и тѣмъ, кто презираетъ тебя?“
спрашиваетъ Нити. И тогда-то въ большемъ тѣмъ въ жизни. А Достоевско-
му пришлось узнать ихъ. Которыхъ презирали его, оъ этомъ свидѣ-
тельствуетъ тутъ-ли не каждая страница „записокъ изъ мертвого дома“,
а сознаний, собственъ, „справедливостъ“, ~~какъ варафимъ Нити~~, не давали
ему метитъ тѣмъ-ли, отбываютъ на презрѣніе — презрѣніемъ. Вѣдь еще
принужденъ быть, какъ Нити, взятъ сторону своихъ немолчаливыхъ враговъ,
признать (въ книгѣ, попытка и, не за страсти, и не по величій своей снисходитель и постолю-
му челоуку души — а за собственъ утилитаріи своихъ, социаль, наибольшъ дару-
вить имъ людей, которае своими существованіемъ оправдываютъ все, что есть
безобразнаго, ниготнаго, нечеловѣчнаго въ жизни тѣ. Достоевскій, Пуршевскій,
Горькинскій и т. д.

Такое страшное бремя выпало Достоевскій изъ своей каторги. Съ годами
оно не только не становилось легче, но все болѣе и болѣе давило его. Сваливъ
его съ себя онъ не могъ до самыхъ послѣднихъ дней своихъ. Нужно было еще

нест, ну если было это срываться отъ вѣсьма глупо и при томъ еще „уничто-
жить“ людей. Какъ справиться въ такой задаче?

XIV

Отъ вѣтъмъ является вся послѣдующая литературная деятельность Достоевская. Уничтожением и оскорблением отклики въ ушахъ почти не
занимается, развѣ только иногда, между прочимъ, по старой привычкѣ.
Любимая его тема — преступлений и преступники. Передъ ними неотступно
стоитъ одинъ вопросъ: „что это за люди, наторжники? Какъ случилось, что о-
наказались или, продолжаясь или казаться правами въ своемъ презрѣнии ко-
мму и отъ нихъ я немного чувствую себя передъ ними такими уничтожениемъ
такими слабыми, такими, странно сказать, обнаженными. И неужели это не-
типично? Этому — ну если уничтожить людей?“ Въ томъ, что у Достоевского было та-
кой вопросъ сомнѣваться невозможно. Статья Раскольникова ясно говоритъ
объ этомъ. Въ ней люди дѣлятся не на добрыхъ и на злыхъ, а на обожжен-
ныхъ и необожженныхъ, при чемъ въ разрядъ обожженныхъ зачисляются
все „добрые“, повиновѣющіеся въ своей духовной ограниченности правительству,
законамъ; необожженные же сами создаютъ законы, или — все позволено.
Разумники вѣрно резюмируютъ смыслъ статьи, когда говорятъ Расколь-
никову: „что действительно оригинально во всемъ этомъ (т.е. въ оцѣн-
кѣ обязанностей и ихъ разсуждений Раскольникова) и действительно
принадлежитъ одному тебѣ, къ моему ужасу это то, что ты все таки
кровь по совѣсти разрываешь и, извини меня, съ такими гранатами-

Рубе

48

моя идея... В это время стало быть и главная мысль твоя отчасти заки-
дается. Видно это разрешение крови по совести, это... это по моему
страшнее, чем официальное разрешение крови проливает, законное. (Слова
"официально" и "по совести" подчеркнуты у самого Достоевского). Наконец
образом "совести" принуждает Раскольникова отойти на сторону преступ-
ника. Его саниция, его одобрение, его сочувствие уже не с добром, а со злом.
Самая слова "добро" и "зло" уже не существуют. Или забыли варваризм
"облинованность" и "необлинованность", при чем с первым соединяется
представление о пошлости, плутовстве, испуганности; вторым же является
выполнение величия. Иначе говоря Раскольникова останавливает "по ту
сторону добра и зла" и поэтому 35 лет тому назад, когда читали
еще более студентом и мечтал о высоких ~~иде~~ идеалах. Правду ска-
зав Разумкин - мысль совершенно оригинальная и целиком при-
надлежащая Достоевскому. В 60-е годы никому не только в России,
но и в Европе ничего подобного и не случилось. Даже Шекспировский
"Макбет" принимался как знаменитая картина угрозы совести,
ожидающей еще на Земле арктики (Брандес и теперь еще так
толкует "Макбета" : *foevla docet*).

Теперь вопрос: если мысль Раскольникова столь оригинальна, что рождалась
по никому, кроме его творца, не приходила в голову, зачем же было Доста-
евскому вооружаться против нее? Для чего ковать копье? С кем же борется
Достоевский? Ответ: с собой и только с самим собой. Бит один, во всем

мирно, позавидовал правительственному величию преступника - и, не смев
прямо высказать свои ^{настойчивы} мысли, создавал для них разного рода "обстановки".
Сперва он выразил в "записках из мертвого дома" свое предположение
предъяхотенности в такой форме, что соблазнили и саму самую "доб-
роту" и чутких людей. Потом он поставил под понятие народа -
яхотенников. Потом всю жизнь воевал с теоретическими отступ-
никами "добро", хотя во всемирной литературе было всего одно то-
кой теоретик - сам Достоевский. Вряд, если бы в самом деле за-
дача Достоевская сводилась к борьбе со злом, то он должен был
бы себя превосходно чувствовать. Кто из его товарищей по перу не
имел такой же задачи? Но у Достоевского была своя, оригиналь-
ная, очень оригинальная идея. Борьба со злом, он выдвигал в со-
защиту такие аргументы, о которых он и мечтать никогда не
смел! Сама совесть взяла на себя грехо зло!... Мысль, лежащая
в основе статьи Раскольникова, развита подробно и в иной фор-
ме у Кипке, в его *Die Genealogie der Moral* и еще прежде, в Мен-
schliche, Altheitliche. Я не могу сказать, что Кипке заимство-
вал и у Достоевского. Когда он писал свое "Menschl, Altheitliche",
еще в Европе о Достоевском ^{никого} не знали. Но можно с уверенностью ста-
вить, что никогда бы немецкий философ не дошел в "Genealogie
der Moral" до такой смелости и откровенности в изложении, если
бы не чувствовал за собой поддержку Достоевского.

Во всякомъ случаѣ, очевидно, ~~несомненно~~, что, не смотря на грабунъ романа, истинная трагедія Раскольникова не въ томъ, что онъ проигралъ преступитъ законъ, а въ томъ, что онъ сознавалъ себя неспособнымъ на такой шагъ. Раскольниковъ не убийца, никакого преступления за нимъ не было. История со старукой процентщицей и Лизаветой — водуха, похоть, напрасина. И Иванъ Карамазовъ вполнѣ родителю не былъ причастенъ къ убойу Смердякова. И его оклеветалъ Достоевский. Все эти „перо“ — плоть отъ плоти самого Достоевского, надвздошки мечтатели, романтики, составивши проектъ будущаго совершеннаго и счастливаго устроитва общества, преданные друзья человечества, внезапно утратившіе свои выдержанности и поужавъ, убои и сознавши, что разговора объ идеалахъ — нѣтъ, богатства, не вносили ни одной крупы въ общую сокровищницу человеческого богатства. Или трагедія — въ невозможности начать новую, иную жизнь. И такая глубока, такая безысходна эта трагедія, что Достоевскому не трудно было вставить лопъ призыву мучитальную переживаний своихъ ахъ убійство. Но считать на этомъ основаніи Достоевскаго знатокомъ и изслѣдователемъ преступной души нѣтъ ни научнаго основанія. Хотя онъ и зналъ какъ торжественно, но онъ не видѣлъ въ творчествѣ. Или прощая, волею бжее, иптарилъ въ преступленіи отпущася для него такой же тайной, какъ для всего насъ. Преступленія обо всемъ этомъ никогда не говорили.

А подлинная фантазия — естественная. Но, на мой взгляд, по поводу Достоевского, о ней вспоминать не приходится. Это у древних поэтыва была фантазия. К ней, точно, по началу причастны муза и каллимаха, а затем и гиблая сна, которая и записывалась на утро любимцами Аполлона. Достоевскому — же, по полному человеку, по торжественному, по русскому литератору, поившему закладывать в судно наше земные юбки все эти мифологические советы и к лику. Это мифология прожита по пустотам собственной души. Оттуда — то она и вывела трагедию подпольного человека, Раскольникова, Карамазова и т. д. Эти — то преступники без преступлений, эти — то уязвленности собственности без вины и составляют содержание многочисленных романов Достоевского. Въ этом — он сам, въ этом — двойственность, въ этом — настоящая жизнь. Все отвлеченное — „учение“. Все отвлеченное из некоторой школы или из обломков старой аттической школы. Какую он ищет? Соли Достоевский — необходимо это от мифов — предавать большое значение своему учению, так же как и Ф. М. Достоевский, как и Китов, как все почти писатели. Он понимает, что может сказать людям, что или уметь, как или жить. Но эта античная претензия, конечно, так же и осталась на всех претензий. Люди живут и всегда жили не по книгам.

В конце „преступлений и наказаний“ во главе с родившимся или рождением строки: „... по ту сторону уже начинается новая ^{история} ~~жизнь~~“

исторіи постепеннаго обновленія человека, исторіи его перерожденія,
 постепеннаго перехода из одного міра въ другой, знаменствъ съ новымъ,
 досель совершенно невѣдомого грядущаго бытія. Это могло бы сос-
 тавить тему новаго разсказа, но перенесенный разсказъ нашъ выи-
 зненъ. Не звучатъ ли эти слова торжественнѣе обѣщанія? И не взяли
 ли на себя Достоевскій, какъ учитель, обязанности показать намъ,
 эту новую грядущую бытія, новую возможность для Раскольниковова?
 Но даю ли обѣта учитель не пошелъ. Въ предисловіи къ „Братьямъ
 Карамазовымъ“ уже послѣднему произведенію Достоевскаго мы опору
 ставили вѣрному въ томъ же обѣщаніи, одного романа Достоевска-
 го мало. Это обѣ обрѣсаетъ своею настоящею герою сну публич-
 ное одинокое романъ, хотя въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“, растянута вышеска-
 на тысячу страницъ гораздо болѣе хватитъ жиста и для „новой
 жизни.“ А въ разрывѣ между „кресту и крестомъ и наказаніемъ“ и „Братъ-
 ми Карамазовыми“ Достоевскій болѣе написалъ только три рома-
 на и въ громадномъ: „Идиотъ“, „подростокъ“, „Беса“. Но обѣ обѣтъ
 все не вспоминается. „Идиотъ“ въ книгѣ Лопухинъ, но не въ раз-
 сѣтъ не можетъ быть признанъ. Если только такое „новое“ оживитъ чело-
 вѣка, если наши идеалы должны оживить Лопухинъ, то
 жалкая тѣнь, тѣ холодные, безыроковые привидѣнія, нѣтъ ли лучшіе ли ав-
 стаче не могутъ въ будущемъ? Самый скромный и обидный условіи,
 даже Макаръ Добружанинъ отбѣдствуетъ отъ тѣхъ же надеждъ и вернется

на своему богатому прошлому. Къ тѣмъ, князь Моткинъ одна идея т.ч.
пустота. Да и роль то его какова! Выходитъ между двумя мен-
шанами и, можно сказать, болванками, и лезетъ то въ одну, то
въ другую сторону. Правда, отъ времени до времени Достоевский да-
етъ ему хорошо поговорить. Но въ то еще не заслуга: разгова-
риваетъ - то авторъ еще князь Моткинъ, какъ и Алеша Карама-
зовъ надрывается несобственною способностью къ предугадыванию,
почти граничащей съ ясновидѣніемъ. Но и ^{необычное досочиненіе} въ первомъ романѣ, где
мысли и поступками всѣхъ действующихъ лицъ управляетъ
авторъ. А сверхъ того качество князь Моткинъ чистѣйшій идиотъ.
Вотъ въ скорбѣ о скорбящихъ, онъ никого не можетъ утѣшить, въ
отталкиваетъ отъ себя Алешу, но не успокаиваетъ Настасью Фи-
липовну; въ ожиданіи отъ Рогожина, предвидитъ его преступле-
ніе, но ничего сдѣлать не можетъ. Хотя бы ему дано было поистинѣ
тратить по любви близкихъ ему лицъ! Но и того нѣтъ. Но и
~~этого нѣтъ~~ его скорбь - только по обязанности. Въ то же то онъ такъ
легко на слова надеясь и утѣшеній. Довольно и Ипполиту въ предпа-
стѣ своей литературной баловани, но тутъ-то его встрѣчаютъ или,
если тотъ и не, провозглашаютъ по заслугамъ. Къ тѣмъ, князь Моткинъ вра-
гуетъ даже среди высшихъ людей Достоевскаго хотя всѣ они болѣе или
менѣе неудачны. Достоевский понимаетъ и умѣетъ рисовать личныя ма-
тевныя, борющуюся, ищущую душу. Какъ только же онъ хватается за

попытку изобразить человека пацсудного, успокоивающего, покаявшегося - он
 сразу впадает в обидную бабальность. Вспомните хотя бы мечта старца
 Зосима о „будущем уже великодушном соединении людей“. Разве отъ него
 не отдают самым шаблонным *Ликинсталецей*, отъ котораго даже и
 социалисты, так влигивающие въ подполье, равно уже отъказались? Но
 во всяком такомъ случае Достоевскому думаетъ - не охота. Неразборчивой
 рукой онъ беретъ, где придется: у слафенориловъ, социалистовъ, въ обаян-
 ности буржуазной жизни. Онъ, видя, самъ чувствовалъ, что не въ этомъ
 его задача и исполнять ея съ поразительной небрежностью. Но отка-
 заться отъ морализирования и предсказаній онъ не могъ: только это
 и связывало его съ остальными людьми. Это въ немъ лучше всего пони-
 маютъ, это цѣнили, за это его въ пророки возвали. А безъ людей, соб-
 ственно безъ людей невозможно жить. „Въ чемъ надобно же, чтобы вся-
 кому человеку хоть куда и куда можно было пойти. Ибо бываетъ
 такое время, когда непременно надо хоть куда и куда да пойти,
 говоритъ Мармеладовъ. Вотъ на этотъ случай и требуется одушеви-
 тельный шундиръ. Вдругъ не свитѣетъ же на люди со словами предан-
 ного человека, въ преклоненіи предъ каторгой, ~~и т.д.~~, со всеми, ори-
 гинальнѣиш⁴ими мыслями, напоминая въ этомъ голову Достоевскаго. Люди
 такого бачения не захотятъ слушать, прогонятъ. Людямъ нуженъ
 идеализмъ во что бы то ни стало. И Достоевскій изваритъ имъ это доб-
 ро изъ плохи призраками, такъ что подъ попецъ и самъ врезкаши

начинаешь думать, что такое занятие и в самом деле чего нибудь
стоит. Но только временами, чтобы потом самому же поспать над
собой. О нем и идет речь в ~~сказании~~ о великом инквизиторе? Кто еще
кардинал, из рук которого народ принимает свои же собственные
жизни? Разве эта легенда не символ пророческой, деятельности самого
Достоевского? Убо, тайна, авторитет - все из того, и только того
исключено, составляла его проповедь. Правда, Достоевский убо и не
не доказывал главного. Сам великий инквизитор, дерзновенно взявшись
исправлять дело Христа, так же слаб и жалок, как и те люди,
которые он третировал с таким презрением. Он страшно ошибал
в своих своих руках. Он слышит сказать только часть истины - и
не самую точную. Народ принял от него, не разбирая, не проборив -
идею. Но это лишь потому, что для народа идея - одна ^{ави} забавная
одна обстановка, внешность. Житская, наивная, еще не знавшая соци-
альной борьбы с ним ничего больше не требует себя, как тыль или иная
слово для своего вразумления. Оттого-то народ и идет за великим по-
том, кто захочет вести его за собой и так ^{легко} ~~и так~~ итиет своими
жизнями: le roi est mort, vive le roi. Но старый, измученный доги-
ми думами, изломленной кардинал вообразил себе, что его немоу-
ная мысль способна ориентировать и давать твердое направление без-
порядочным, хаотическим массам, что ей дано благотворительство
сотни тысяч и миллионов людей... Какое сластолюбие и ослепчивое

прекрасные заблуждений! И тогда же одному великому инквизитору
 в романе Достоевского оно свойственно. Во все времена все учителя
 думали, что они держат мир, что они ведут своих учеников к
 счастью, к радости, к свету! На самом деле эти паству были гораздо
 меньше своих стада, чем стадо-паства ханов. Это стало бы с ве-
 ликим инквизитором, если бы он не имел гордой мысли, что без него
 погибло бы все человечество? Это спрашивало бы он со своей совестью? И
 вот, глубокий старец, проникновенный своим изощренным умом во все
 тайны нашего существования, не уловить вид тот одного-единственного
 его главного. Он не знает, что не народъ ему, а онъ народу обя-
занъ верой, той верой, которую потом отчасти оправдывает в со-
 знании его великую, умную, мудрейшую и адилекую жизнь. Он обла-
 дая народ своим разсказами о чудесах и тайнах, был принят и
 себя видъ всезнающего и всевластного авторитета, он называл се-
 бя иносказателем Бога на земле. Народъ охотно принимал эту роль,
 ибо и не понимал в правду, не хотел и знать; но старому ^и наряду
 нал, со всеми своими поэти-вещами оплотн, с изощренным плоти-
 вом и неустанной мольбой умом, не замечал, что и сам становится
 жертвой своего обмана, вообразив себя благодетелем человечества.
 Ему отныне обман нужен был, ему не откуда было получить
 веру в себя и он принимал ее из рук презираемой им, ничто-

вой ~~жизни~~...

ХV. Романов

Носим Достоевский не в пленя этого обмана, не могу удовольствоваться та-
кой „второй в себя“. Не смотря на то, что он такъ красиво и обоевру-
тельно умелъ разсказывать о „гордомъ одиночествѣ“ своего великаго
инквизитора, онъ понималъ, что все пыткой маетарады васынъ и
прожннъ словъ опять таки пучает не для него самого, а для других,
для народа. Гордое одиночество! Да разве современной человѣкъ мо-
жетъ бить гордому ~~на~~ ^{за}едини съ собою? Предъ людьми, въ речахъ, въ кни-
гахъ-да, конечно. Но когда никто его не видитъ и не слышитъ, когда
онъ въ полную полночь, среди тишины и безмолвія, даетъ себѣ отчетъ
въ своей жизни, развѣ смѣетъ онъ употребить хоть одно вассомое слово?
Хорошо было Прометей - онъ никогда не оставался одинокимъ. Это всегда
сидѣлъ Зевесъ - у него былъ противникъ, было кого злитъ и раздражать
своими непреклоннымъ видомъ и гордыми речами, значить было „добро“.
Но современной человѣкъ, Раскольниковъ или Достоевский, въ Зевеса не
встрѣтитъ. Когда его покидаютъ люди, когда онъ остается наединѣ
съ собою онъ поневолѣ начинаетъ говорить едѣ правду и, Боже мой,
какая это ужасная правда! Какъ мало въ ней тѣмъ-то чуждымъ
и чуждымъ образомъ, хоть разъ ма по потѣнческимъ преданіямъ, считали
постоянными спутниками одинокимъ людей! Вотъ для прилика
одно изъ разнмачленій Достоевскаго (собственно Раскольниковъ, но, въ,
какъ мы ~~вѣдѣ~~ знаемъ, все равно):... потому, потому окончательнѣ

вошь, прибавил он, скрежеща зубами, - потому что сам бы, мо-
 жет быть еще свернуть и галки, чем убитой вошь и заранее пред-
 уществовать, что скажу себе что уже пошутило, как убою. Да
 разве с этими укасами может чтонибудь сравниться. В пош-
 лость, о пошлость! О как я пожимаю, пророка, с саблей, на кони:
 вскакивай Аллах и повикуйся, грожащая тварь. Правь, правь про-
 рок, когда ставит ногу и будет поперек улицы кор-р-р-ошуй
 Батарей и дует в правую и виковатого, не удостоивая даже
 и объясниться. Повикуйся, грожащая тварь, и не желез, потому
 что твое это дело. Оки за это, ки за это не прощу старухи. Ка-
 кие униженнейшие, отбратительные слова к образу! Неправда-ли,
 что Ракольникову необходимо было „для поэзии“ дать хотя
 старушонку и Лизавету прихлопнуть, чтобы было приличная
 объяснение таким настроением? Но на самом деле, тут кровь
 не была пролита, тут уловщик - нет. Это обаяние „наказа-
 ние“, ожидающее рано или поздно всех „идеалистов“. Рано или
 поздно для каждого из них проветь гал и он с укасами и зуб-
 ными скрежетами воскликнет: „правь, пророк; повикуйся грожащая
 тварь“. Еще трюка что-то тому назад было произнесено стран-
 ный приговор величайшим из поэтов поэты величайшим из идеали-
 стов. Полюбили безумный крик Гамлета: „распалась связь времен!“
 С тех пор эти слова не перестают варьироваться писателями и по-

этим на безконечные лады. Но по настоящему времени никто не может
прямо сказать себе, что нечего и связывать разь провавшихся
эским, нечего вновь вводить время в колесо, из которой оно вышло.
Все грядутся новая и новая попытки возстановить призраки
старую благополучия. Наме постоянно кричат, что неслизнич
и сжигицизм все погубили, что нуеиь вновь, "поворитъ", "взнути"
са назад², стать "непосредственными" и.о. и кизмькино
предлагаютъ въ качествѣ саркопаяаго цемента старую, "идею",
и упрямь отказываются понять, что въ идее и было все наше
несчастье. Это счастье въ Достоевскомъ, когда онъ заговариваетъ
васъ, что, ^{онъ} (точно поощицами отрывая себя самъ отъ всего и
всего въ эту минуту)? Въ пощелте его благоутробнѣевоваго блу
нахъ? Но онъ уже давно испробовалъ этотъ путь и написалъ "Бли
наго инвизитора". Кто можетъ - нуекой еще занимается возмуще
ниями истинными и обманамъ, Достоевскій все знаетъ, что если
въ этомъ своемъ времени, то она уже навѣки порвана. Онъ говоритъ
только не въ качествѣ гулетакта, читаващагося и кибелъ,
а какъ человекъ, своими глазами все видѣвшій, своими руками
все оцупавшій. Въ пятой книгѣ "Братьевъ Карамазовыхъ" четвер
тая глава озаглавлена словомъ "Бичъ". Это значитъ, что До
стоевскій не только не хочетъ хлопотать о возстановленіи прежи
"связи", но готовъ сдѣлать все, чтобы показать, что зрѣсь нѣтъ
1) Преступленій и наказаній, 115.

и не может уже болше быть никаким надежд. И вотъ Карамазовъ возстаетъ противъ изоблеченныхъ положеній, лежащихъ въ основѣ современнаго нравственнаго міровоззрѣнія. Глава прѣмъ нагипается слѣдующими словами: „я тебѣ доложу сдѣлаю одно признаніе, скажи Иванъ: я никогда не могъ понять, какъ можно любить своихъ близкихъ. Именно близкихъ-то, по моему и невозможно любить, а развѣ дальнихъ¹⁾. Алеша перебиваетъ брата замечаніемъ, долженствующимъ намъ показать, что самъ Достоевскій не раздвигаетъ границъ Ивана. Но мы уже кричали къ казойлибому и одиозному сюсюканью этого лица и оно мало намъ симулируетъ, тѣмъ болше, что намъ не поддается другая отправка, на этотъ разъ уже изъ утробы писателя за 1876 году: „я объявляю, говоритъ тотъ Достоевскій, что любовь къ человечеству даже собою не возможна, не понятна и собою не возможна безъ совершенной веры въ безсмертіе души человеческой“²⁾. Это ясно: между словами Ивана Карамазова и самого Достоевскаго нѣтъ никакой разницы. Иванъ Карамазовъ въ все время говоритъ въ томъ предположеніи, что душа не безсмертна. Правда, онъ не приводитъ никакихъ доказательствъ въ пользу своего „предположенія“, но въ и Достоевскій свое утвержденіе приводитъ „пока бездоказательно“. Какъ или иначе, несомненно, что ни герой романа, ни авторъ не вправѣ въспоминать

1) Братья Карамазова, 220 2) Сочиненія, т. X, стр. 425

ность идеи „любви ко ближнему“. Если угодно — Достоевский идет дальше
Ивана Карамазова. „Мало того, пишет он, я утверждаю, что соз-
нание своего совершенного безделья поможет или принесет хотя какую-
нибудь пользу или облегчение ближнему страдающему человечеству,
в то же время при полном вашем убеждении в этом страдо-
нии человечества — можете даже обратить в сердца ваших любовь
к человечеству в ненависть к нему“ (подчеркнуто у Достоевского).
Неправда ли жаль, что не случилось тут Разумихина и потому сами
напомянут Достоевскому, что его идея чрезвычайно оригинальна! Види-
тось то же, что и в сужатии Раисовича: совет разрывает
ненависть к людям! Если нельзя помочь ближнему, то и любит
его нельзя. Но ведь тут именно ближние, которые обановски претен-
дуют на нашу любовь, делают большую часть людей, которые
нельзя помочь — а вы и говорите обо всем человечестве! Когда-то
достаточно было воспитать страдающего, облить его как и мы слезами,
назвать его братом. Теперь этого мало — ему хотят во что бы то
ни стало помочь, хотят чтобы последний человек перестал быть
последним и стал первым! Если же это невозможно — то любовь
посылается к горлу и на ее опустошающую троюк посылается на
вски вспыхивающая ненависть... Достоевский (полагаю, что посыл крик
нах и читать его больше не будут а вы и бавит от Алейки) уже
не верит во всемогущество любви и не уткнувшись слезь сочувствия и

уничтожений. Безспасе помощи является дань неволе обстоятельств и
всунутых в них аргументов. Вы ищете сил, помощи? И
у кого вы открываете, как посылать, самую задушевную, заветную
чашу его страдания? Wille zur Macht, столько же рыцаря и божьего ва-
раха, как у Кити! И вы мой ба, в конце любого из своих
романов напечатать, как Кити, эти слова огромными, чер-
ными буквами, ибо в них скрыта вся его искания! —

В „преступлении и наказании“ основная задача всей литературно-
художественности Достоевского заключается в том, чтобы показать
идею возмездия. Довольствуясь читателям кажется, что Достоевский и
во самом деле судит людей по Рокколовскому закону, а не по евангелию. Но
в „Братьях Карамазовых“ вопрос поставлен с такой ясностью, ко-
торая уже не оставляет никаких сомнений в намерениях автора.

Рокколовский — „виноват“, он, по своему собственному, коварному и эгоистиче-
скому закону, а не по евангелию не заслуживающему внятия признаку, совер-
шил преступление, убийство. Люди снимают с себя ответственность за
свои страдания, как бы ужасны они не были. И вот Карамазовы на-
ходят эту ложь. Вы знаете, что, если бы предложили на обсуждение свои
собственные сдобр, то вы бы не могли бы уличить, так как знаете, что
они „должны быть“, как выражается Достоевский т.е. виноваты, если не
в действительности, то в возможности. Поэтому вы и не можете осудить
говорящих. Вы ставите свой знаменитый вопрос об ответственности

слова ребенка. „Слав и лия, обращается онъ къ брату, самъ прямо къ
бу тебѣ, отвѣчай: представь, что это тѣ самъ возводишь зданіе судь-
ба человеческой съ целью въ дѣлать несчастливѣйшій людей, дать имъ, на-
конецъ, миръ и покой, но для этого тебѣ необходимо и неминуемо предсто-
итъ заложить всего одно лишь крошечное созданище, вотъ того самого
ребенка, бывшаго себѣ кулаченкомъ въ утробѣ (о которомъ я въ свое время
уже рассказывалъ Аленѣ) и на неопытнейшихъ словахъ съ основаніемъ
это зданіе, согласишься ли тѣ быть архитекторомъ на такихъ условіяхъ,
счастья и нести. Алена отвѣчаетъ на этотъ вопросъ тоже тихимъ го-
лосомъ, какъ когда Миккиль-Уппошуту, но отвѣтъ, конечно, уже не
тѣмъ. Слово „прощеніе“ не вспоминается, и Алена прямо отказывается
отъ предложенія ^{его} сему проекту. Достоевскій, наконецъ, договорился
до послѣдняго своего слова. Онъ открыто теперь заявляетъ то, что
съ такими оговорками и припѣваніями впервые выразилъ въ за-
пискахъ въ полюбавъ: „никакой гармоніи, никакой идеи, никакой
любви или прощенья, словомъ ничего изъ того, что отъ древнѣйшихъ
до побѣдѣвшихъ времени придумывали мудрецы, не можетъ оправдать
безнаследичу и несправедливости въ судьбѣ отдельнаго человека. Онъ гово-
рилъ о прощеньи“ и безъ того словнаго вопроса, ^{вернее}
речь о ребенкѣ, но то лишь ~~не~~ ^{да} ~~дѣлать~~, что онъ обезоруживаетъ про-
тивники, только ловко ~~ползучесть~~ и ~~играючи~~ въ споръ словомъ, вина.
И въ самомъ дѣлѣ, развѣ тотъ обличилъ себѣ кулаченкомъ въ утробѣ ребе-
ночекъ уяснить, что же Достоевскій — Раемольниковъ, вслѣдствіе поучивовав-

ний, что онъ себя, словно побицаши отпроталъ отъ всего и вся? ¹²

Вспомните, что случилось съ Раскольниковымъ, когда онъ, выйдя встать за Раскольниковымъ, пошелъ несчастливой, безумно-мучительной сценою его прощаний съ матерью и сестрой, вдругъ догадался, какой адъ происходитъ въ душѣ его несчастнаго друга. „Понимаете? спросилъ его Раскольниковъ съ болезненно перивибившимъ лицомъ — и отъ этого вопроса волосы поднимались на головѣ гробомъ. Да, отъ на земли чужа, которые не смилосердились и чужа, которые не смилосердились. Предъ ними блуждаютъ рассказы Карамзина о вѣрности чужа, въ истязаніи грѣшныи родине и т.д. И „аблокъ“ зрясе, иопеко, никого не обожаетъ. Ну, что ии, отъ мѣтитъ за эти слова, либо — по развѣ мочатъ бѣтъ какое нибудь еще „либо“ для пѣвца, кто подобно Дантесскому, самъ проливалъ ии? Какой зрясе возмозеи отвѣтъ? „Казаръ въ Конту“? ~~Съ боями~~ ^{Съ боями}, никто не удеркиваетъ. Но Достоевскій идетъ впередъ, что ба его не окрало впередъ. Когда Раскольниковъ, пошелъ убійства, удивляется, что ему навсегда отпизанъ возвратъ къ прежней жизни, когда онъ видитъ, что родная мать, любящая его болѣе всего на свѣтѣ, перестала бѣтъ для него матерью, (кто, до Дантескина, мочъ думать, что такое чужа возмозеи?) чти сестра, согласившаяся ради его будущности павъти забавалитъ адиз Лукину — чти для него не сестра, — онъ истинно иивно брѣжитъ къ Соф Мармеладовой. Зачемъ? Чти мочетъ найти вѣтъ у этой несчастливой чтибущи, итиму не чтибущи, итиму не знающей? Вѣтъ онъ предпа

[illegible]

любопытство Достоевского, названт а настоящих именов, чтобы убить
 а навсегда. Не могу он думать двадцать лет тому назад, что подполь-
 ные идеалы евангелия вскорости возродятся вновь и предложат свои права и
 робко и боязливо, не подя ~~жри~~ критическим привагкам, прикирляющим маблон-
 нать форму, а сию и свободу, въ предувствіи несоименной подяда. „Горто-
 во добро и зло“, назывшейся случайной фразой въ устномъ чуждаго автору герас-
 романа, теперь облечлось въ ценурю формулу и по ту сторону „добро
 и зла“ и въ такомъ видѣ просаеъ вонве тѣ снототисеи впрт весте
 жившихъ доселѣ мудрецовъ. И прихъ тѣмъ сложило у Достоевского „добро
 свою ворду голову? Кармазовъ говоритъ о срдотъ замутеннаго ребенка.
 Но Раскольниковъ требуетъ отвѣта за себя, за одного себя. И не кологир
 удогра нуоинаго отвѣта, ствергаеъ его. Вспомните его разговоръ
 съ Соней Мармеладовой. Раскольниковъ пришелъ къ ней и затѣмъ, чтобы
 раскаятѣся. Онъ и до самого конца, въ глубинѣ души своей не моетъ
 раскаятѣся, нбо чувствовалъ себя ии въ темъ кеновинномъ и знаетъ,
 что Достоевскій только для порядка взвалилъ на него обвиненіи
 въ убійствѣ. Вотъ сго различіиеніи, уже послѣдній, уже въ которомъ.
 , о какъ бѣ счастливъ онъ бѣетъ, если въ мнѣ обвинитъ себя (т. е. въ-
 бнѣтѣ). Онъ бѣ еще тогда все, гаже стѣетъ и поворѣ. Но онъ строго
 судитъ себя и оясоточная совѣсть его не нашла никакой особеннотвас-
 кой вины въ его прощеломъ, кромѣ правъ пропалу (подоркинулъ Достоевскій)
 который со всякимъ мотъ случитѣся... Онъ не раскаявался въ своихъ преступленіи.

В) Преступленіи и наказаніи, 539.

процессуальности, сего того съименіи, въ которомъ иаривоу въ про-

Эти слова - итог всей убаюкивающей истории Раскольникова. Он оказался раздвинувшим неизвестно за что. Его задача, вся его стремления - оправдать свое несчастие, вернуть свою жизнь, - и ничего, ни счастье всего мира, ни торжество какой-либо идеи не может в его глазах дать сил для собственной трагедии. Вот почему, как только он замечает у Соли Евангелие, он просит ее прочесть ему про воскресение Лазаря. Ни напорная проповедь, ни притча о фарисеях и фарисее, словом, ничего из того, что было переведено из Евангелия в разговорную науку, по ^{толстовской} формуле „горю, братишка любовь-есть Бог“, не интересует его. Он все ^{то} просит, и не так ^и так (убождаясь, как и сам Достоевский, что от греховно взятое, варварское из обычного содержания св. Писания, оно ^{становится} уже не истиной, а любовью. Хотя он еще не слышит догматического языка, что правда не у науки, а там, где написана загадочная и таинственная слова: претерпевший до конца спасется, но он все же пробует обратить свой взор в сторону тех надежд, которыми оживит Соли. „Возвращаясь, думаю, как и ты мои последние человека, в 96 она узнала свои оплотнеть, что значит жизнь такой ожившей. Может быть от нее узнаю это, что не удастся объяснить лишь ученой. Разуметь, что не удается даже бездумно любящей, готовая на все жертвы материнское сердце. Она пытается вновь воскресить в своей памяти то потухшее Евангелие, которое не отвергает молитвы и надежды одинаково, заубежденная человека под предлогом, что думает о своем горьком значении, как говорят на современном языке о своем, брат, „Достоевский“

Онъ знаетъ, что зная его скорбь будетъ утешена, что его уже не
относятъ на пату и идея, что ему будетъ позволено сказать
всю внутреннюю, страдную правду о себѣ, ту правду, съ которой онъ
родился на свѣтъ Божій. Но всего того онъ можетъ ожидать лишь отъ
того Евангелія, которое читаетъ всѣ, еще не сокращеннаго и не
переделаннаго папой, ^{и пр. Погодинъ} отъ того Евангелія, въ которомъ наряду съ про-
чимъ ученіемъ сохранилось и сказаніе о воскресеніи Лазаря, и, бже, бже
того, воскресенія Лазаря, знаменующаго собою великую силу творя-
щаго чуда, даетъ силѣ и остальнымъ, столь недоступнымъ и за-
гадочнымъ для божіаго, зваго, челоукаго ума, словамъ. Подоб-
но тому, какъ Раскольниковъ ищетъ своимъ надеждъ лишь въ воскре-
сеніи Лазаря, такъ и самъ Достоевскій видитъ въ Евангеліи
проповѣдь той или иной правды, а зовомъ новой жизни:
„безъ востанія идеи не можетъ существовать ни челоукаго ни божія,
ни что ин. А востаніе идеи на землѣ лишь одна (поддерживаетъ
у Достоевскаго), и именно идея о безсмертіи души челоукаго,
ибо все остальное „божій“ идеи жизни, которыми можетъ быть
быть челоукаго, лишь одна изъ вѣдѣностей“)

XVI

Все это, разумеется, не „научно“, бже того, все это находится въ пря-
мой противоположности съ основными предположеніями современной науки.
и Достоевскому, лучше этого кому-либо другому известно, какъ мало олово

У Сочиненій, томъ X, стр. 424.

мощь дасть ему побойшии приобщеніи и зованіи самовольнаго ума.
Оттого то онъ никогда не подается сдѣлать науку своей союзницею и вѣрится
ей только равно остерегается вступитъ съ ней въ борьбу ея въ оружіи. Онъ
отлично понимаетъ, что путь болше заложъ отъ себя. Но торжество науки,
несомнѣнность и очевидность ея правоты, не приводятъ Достоевскаго къ покорности.
Всего онъ давно уже сказалъ намъ, что для него стѣна не непреодолимое препятствіе,
а только отводъ, предлогъ. На все научнаго сообщенія у него одинъ отвѣтъ:
(Дмитрій Карамазовъ): „какъ я буду подъ землей бѣжать Бога? На торжествѣ бѣ-
жѣ Бога бѣжать невозможно.“⁽¹⁾ Раскольники воззываютъ простую, некричущую и не-
вѣстѣ въ товарищамъ арестантамъ своей научности, своей приверженности не-
сомнѣнной вѣдѣ, своимъ невѣріемъ, которое они, по словамъ Достоевскаго,
спразу въ себя погубятъ вѣрою. „Ма безбожники! Ма въ Бога не вѣруете, крича-
ли они ему. Убьютъ тебя казнь!“⁽²⁾ Все это, само собою разумѣется, истинно.
Изъ того, что подземному человеку невозможно бѣжать бѣжѣ Бога, изъ того, что
каторжники видятъ въ несправедливости изъ преступлений - вовсе не слѣ-
дуетъ, что намъ должно отказаться отъ несомнѣннаго вѣдѣ науки. Это, конечно,
~~нельзя~~. Подобно все каторжные и подземные люди: не перематривать она имъ за-
нѣ въобщѣ приобщеніемъ трудовъ грѣшниковъ похвалитъ людей аксіомъ, не
отказываясь же отъ апріорнаго сужденія, только они это имѣютъ тому на-
задъ оправданія, наконецъ, благодаря всѣмъ тому же книгоберскому философу
Павлову ^{ясно} ~~лучше~~ ^{ясно} подземныхъ людей, противоборствующая несопримчивости ея
человѣкъ обитателя подполья. Прикрытіе стѣны стѣны невозможно, они

¹ Братья Карамазовы, 700. ² Преступленія и наказанія, 541

борются до последнего истощения сил и а' la guerre, comme a' la guerre, —
 средства борьбы не разбираются. Катормников кричат, драматизм, слезы и плач
 с упрямостью титанов погубит мир. Достоевский пробует примирить титанов
 прямо и по волею людей. Отчего, например, не востанет в парика-
 турных, опомлевших видах усталая? Отчего не востанет Клода Бернара? Или
 не оклеветать и оплевать журналиста, сотрудника либерального издания, а вить-
 нуть с ним и ветвь либерально мыслящих людей? Достоевский не остано-
 вился перед этим. У него ~~еще~~ есть только и измыслил по поводу Ракитина!
 Самой отчаянной и оторванной частью благородных рыцарей в сравнении
 с теми будущими предводителями либералов, и организующими берут на себя
 да Брудей роль сводника. Все, рассказанное о Ракитине, истощающее кредит
 на либералов и известия предумышленное. Можно говорить о них, что похуже,
 но несомненно, что самая лучшая и честная мысль ставившая в их ряды.
 Но некаждый не разбирает средств. Они в Бога не веруют, убить не
 надо — вот внутренний импульс Достоевского, вот что движет им, когда
 он измыслил такого рода искушение по поводу своих добрых союзни-
 ков — либералов. Пушкинская реча, в которой, повидимому, звали в един-
 ную все свои и партии русского общества, на самом деле была провока-
 ционной. Вотной борьба на смерть. „Смирись, гордый человек, помирись пра-
 вильно“ — разже Достоевский не знает, что эти слова возбудят у него бурю
 негодования и возмущения именно у тех, кого они предназначались заманить.
 Эти они знают? Они зовут на землю людей в подземелье, в которую

в вѣдѣнную тѣлу. Да разве то на минуту сильнѣ Достоевскій и адомъ
что за нимъ пойдутъ?! Вы знали, вы елищкомъ знали, что тѣ изъ со-
матаси, которыя та пожелаютъ лицемпритѣ, не примутъ его призыва. „Но
оставимъ бѣтъ ослушавъ зрѣвъ, теперь“ — вотъ что думаетъ каждый парзенин-
человѣкъ — каносъ ему ушло до того, что Достоевскій все еще не вѣщаетъ изъ
своей каторги! Разсказываютъ, что все, приучтѣвавшій на пучкиискомъ
праздникѣ, боли и обидѣнно тронуто речею Достоевскаго, Ликоніи убо
плакали. Но, чему же тутъ дивитесь? Раздѣ слова оратора боли призыва
слушательники за литературу и только за литературу. Отдѣ же не чин-
лифеа и не поплакать? Самая обыкновенная исторія.....

Но нашлись и такіе люди, которые посмотрѣли на это иначе и стали
возрождать. Достоевскому отвѣтили, что много принимаютъ его высокія слова
о любви, но это нисколько не мѣшаетъ и не должно мешать людямъ
заботиться о устройствѣ земнаго счастья или, иначе говоря, о нѣ
общественныхъ идеалахъ. Допустимъ Достоевскій это, только это одно вырва-
ни, и онъ могъ бы навѣки замирился съ либералами. Но онъ не только не
хотѣлъ на уступку, но и оруженъ на профессора Градовскаго, взявшійся
защитить это либераловъ, въ такой безумной, въ такой безудержной зрѣвъ,
что Градовскій отнималъ у него самые пылущіе его достоинства. А въ убо
Градовскій писалъ такъ спокойно, такъ сдержанно, такъ достойно. И, главное,
раздѣ онъ не только не отказывался отъ своего учения о любви и людяхъ,
но и въ Достоевскій превратилъ въ своемъ гневѣмъ Инстинктъ, въ своемъ

рокам и кущицкой житою. Только пламенеть отранить —, но наобо-
рот на нем и только на нем основывать все вь свои планы одушеви-
ла устроитва.

Но имено этого больше всего боялся Достоевский. У Ренана, во его кри-
стиков и „История Иудеи“ есть любопытная оцѣнка знаменитых
еврейскихъ пророковъ: „ils sont fanatiques de justice sociale et proclament
hautement que si le monde n'est pas juste ou susceptible de le deve-
nir, il vaut mieux, qu'il soit détruit: manière de voir très fautive,
mais très féconde; car comme toutes les doctrines désespérées, elle
produit l'héroïsme et un grand éveil des forces humaines.“ Горько
такъ-же отнесся кр. Трогубский к идеям Достоевскихъ. Въ набожнич-
ствѣ „по существу“ покаянии, но признавалъ ихъ плодотворными тѣ.
способными пробудить людей и дать имъ тѣхъ терпѣнь, безъ которыхъ невоз-
можно движеніе впередъ человечества. Собственно говоря, и желать большаго
нельзя. Въ „учителя“, по крайней мѣрѣ, должно было быть что-то
постоянное. Но Достоевский въ такомъ отношеніи къ себѣ убогого
вой приговоръ. Ему „плодотворности“ не было. Онъ и хотѣлъ
добровольно играть ролью старика кардинала въ „великомъ инквизи-
торѣ“. Вѣрно, только одного искалъ онъ: убедитъ въ истинности „своихъ идей“. И,
если бы потребовалось, онъ готовъ былъ бы разрушить все міръ, одеть чело-
вѣка на вѣчныя страданія — только бы доставить торжество своимъ идеямъ,
только бы счѣтъ въ немъ подозрѣніе въ ея истинности и въ истинности своихъ идей.

[illegible]

Само собою разумеется, что человеку таких воззрений и настроений благодарить всего было бы не поспеть в публичности, где неизбежно сталкиваешься с практическими вопросами: что делать? В романах, в философских рассуждениях можно и можно утверждать, что русский народ любит страдать. Но как применить такие положения на практике? Предложить устройство комитета, охватывающего русских людей отсюда?! Конечно, это не пойдёт. Но, мало того — невозможно даже постоянно вращаться в своей радости по поводу предстоящих человеку случаев почти сплошных. Нельзя торжествовать, когда люди постигают боль, голод, нельзя радоваться бедности, неимению. За это ведь нами возро-

сего. Н. К. Михайловский передает, что в указании в статье
 январьская номера „Отел. Записки“ за 1873 годъ писалъ, что „народу
 носить реформы, а отчасти даже въ связи съ ней, грозитъ бѣда болѣе
 ужасна, нравственно и экономически обостряемая — показала дос-
 тоевскому „чуждыя откровения“. Всема вѣроятно, что Достоевский
 именно такъ понималъ и, вѣроятно, не толковалъ смыслъ статьи
 „Отел. Записки“. Реформа, на которую мыслители ботла-
 какъ столько надежда, не только не принесетъ невиннаго „наеда“,
 но грозитъ отравляющей бѣдой. Это, очевидно, обойдется и безъ фактиче-
 скихъ отступлений отъ принциповъ, на которыхъ сложился подпол-
 ный факт. До хрустальнаго дворца — далеко, если сказать вѣра-
 менно и безорудно начинающаго приходить въ вѣсть богатство ко-
 рова однихъ несчастій. Правда, какъ публикуетъ, Достоевский ни разу
 такихъ вещей не говорилъ прямо. Но „жестокость“ не признавалъ
 онъ бѣду отравляющей. Даже больше того, онъ самъ никогда не
 пропускалъ случая сказать — и какъ бы сказать! — всякого рода прояв-
 ленія жестокости. Напримеръ онъ возставалъ противъ европейскаго
 прогресса на томъ „основаніи“, что „прольются рѣки крови“ прежде
 чѣмъ борьба классовъ приведетъ насъ къ чему нибудь путному
 нашимъ западнымъ соседямъ. Это было оди изъ любимыхъ
 его аргументовъ, который онъ не усталъ повторять десятки разъ.
 Но тутъ только можно особенно наглядно убедиться, что все аргументы

menta sunt argumenta ad homines. Достоевский-ли боялся ужасов
крови? Но он же знал, что так можно подвигнуть на людей и, когда
нужно было, рисовал страшные картины. Почти одновременно
и укорял европейцев за то, что все еще относятся безкров-
ную борьбу и заклинал русских идти войной на турок, хотя, ко-
нечно, одна, самая страшная, война требует больше крови, чем
десяток революций. Или другой, еще более поразительной при-
мер аргументации. Достоевский рассказывает, что кто-то из
команд "вскладался за сохранение розет для детей", ввиду того
что ~~она~~ наказания закаливают и приучают к борьбе. Достоевский
"знакома" (у Достоевского, в дневнике писателя, была "знакома"
вскладовавшая "оригинальная" мысль) знает, конечно, что и
полюбопытство, что сам Достоевский эти ~~и~~ лишь ~~и~~ заин-
тересовался и обращает на других подумать о нем. Между
тем же тот же Достоевский, так охотно наделяющий ~~и~~ людей,
даже детей, страданиями, вдруг впадает в сакт и мен-
тальность и чувствительность, когда заходит речь о судьбе
мужа пушкинской Платона. Это покинута, это ~~сдвигать~~ кес-
тапканье, - если бы Платона ранили на это, потеряли бы
навсегда все идеалы. Ну-ка, а ведь дамы и не могли ~~ст~~оронки
ли "жестокости", а думаю, найдется не один человек, который
признает, что причинная порция "страдания" была бы ~~и~~ сави

не бесполезны этому господину, такъ вѣсно поднимавшему и
носу, и плечи. Во всякомъ случаѣ не только полезна, чѣмъ русскимъ,
громамъ, которыхъ, какъ извѣстно, и въ школахъ не забываютъ
„страданиями“. Такихъ примеровъ у Достоевскаго можно най-
ти очень много. На одной страницѣ онъ требуетъ отъ насъ са-
моотреченія во имя тѣло, тѣло избавитъ отъ страданій ближ-
нихъ, а на другой, почти соседней, онъ воспоминаетъ тѣ же
страданія....

Изъ этого слѣдуетъ, что по земному человеку нечего ска-
зать, когда онъ вступаетъ въ роли учителя людей. Чтобы ва-
держаться такой роли ему необходимо навсегда заткнуть свои
уши и обманывать людей, какъ грѣшилъ старшій нареди-
наль. Если же болѣе могутъ кельзя, если-же пасть или,
какъ-нибудь, время разсказать вспарочно тайну всякаго инквизи-
тора, то стало бы людямъ и можно сказать себѣ окрестъ уже
не среди учителей, какъ въ старину, а среди учениковъ, всегда отъхо-
и вона fide исполняющихъ всякого рода торжественныя обяза-
ности. У учителей же отнято послѣднее имъ утѣшеніе: они
уже не признаются болѣе народными благодѣтелями и исцѣ-
лителями. Имъ сказали, имъ скажутъ: врагу исцѣлился самъ.
Или говори: найди свою задачу, свое дѣло не возвращайся на-
шихъ недугъ, а въ собственномъ здоровьи. Займись собой — одъ одного себя

XVII.

На первой взгляд задача упрощается. Но стоит на минуту на-
точку зреть Достоевского, поземного человека, великого инквизитора
и вы поймете, какая нитка скрывается в этом упрощении. Поде-
землей врачают себя, заботятся о себе, думают о себе — когда,
очевидно, никакое врачество уже невозможно, когда никого ва-
думать нельзя, когда все кончено! Но поразительно: когда челове-
ку грозит неминуемая гибель, когда перед ним раскрывается
пропасть, когда уходит последняя надежда, во него внезапно
снимаются все его тяжёлые обязанности в отношении
к людям, к словесности, к будущему, к цивилизации, к прогрессу и т.д.,
и валишь всего этого предъавляется упрощенный вопрос об
его одинокой, чуждой, незамысловатой личности. Весь герой тра-
гедии — "Эгоист". Каждый из них по поводу своего несогласия
завест к отводу все мироздание. Карамазов (Иван, конечно)
прямо заявляет: "я не прикиваю мира". (То значить эти сло-
ва? Значит Карамазов, вместе с тем что он протестует, как он
лают все, от страсти и кин, неразрешимых вопросов — прямо идет, он
зест на них, только медведь на рога тину? Везде не по медведь
на личности! О как хорошо знает ^{он} Карамазов, что такие
неразрешимые вопросы и каково человеку биться уже подрозак-
ном и кровлими остона востости! И тем не менее он не

сдается. Имя *Sing an sich*, *being*, *dem* *zwe* *pat* *ka* - не соблаз-
 каютъ его къ приключенію. Но вѣдь философскими построениями
 этотъ заблудшій добрый человекъ относится съ нескрываемымъ
 презрѣніемъ и отвращеніемъ: „Каждо о немъ, говоритъ Карамазовъ,
 или соплики-моралисты называютъ подлюго...“ У Достоевскаго
 ни одинъ изъ его допрашивающихъ судьбу героевъ не
 хочетъ самоубійствъ, не считая Кириллова, который, если
 убиваетъ себя, то не затѣмъ чтобы отделиться отъ жизни,
 а чтобы испытать свою силу. Въ этомъ отношеніи все они
 раздѣляютъ точку зрѣнія старика Карамазова: они забвѣ-
 ный не ищутъ, какъ бы трудно или не давалась жизнь. Любо-
 пытной иллюстраціей этой „точки зрѣнія“ служатъ ^{отношеніи} ~~между~~ Ива-
 на Карамазова, припомнившіеся ему въ бѣдѣ съ чортами. Какое
 то грѣшникъ блѣдъ осужденъ пройти ивадриліонъ километ-
 ровъ, прежде чѣмъ ему откроются райскія двери. Грѣшникъ
 заупорствовалъ: „не пойду“ говоритъ. Лезетъ и ни съ мѣста.
 Такъ пролежалъ онъ тысячу лѣтъ. Потомъ всталъ и пошелъ.
 Шелъ билліонъ лѣтъ. „И только что ему отворили рай... не про-
 бовъ еще и двухъ секундъ, воскликнулъ, что за эти двѣ секунды
 не только квадриліонъ, но даже ивадриліонъ ивадриліоновъ прой-
 ти можно и даже возвыситься въ ивадриліонную стѣпень.“
 Такимъ-то образомъ размышлялъ Достоевскій. Эти головокружи-

1) Братья Карамазова, 272.

таковыя квадриллионы пройденных километров, эти биллионы летъ
вспесенной безмяслицы ради двух секунд райскаго блаженства, за
котораго нѣтъ на челоушескомъ языкѣ словъ, сущѣ лиши варажени
той жающей жизни, о которой здѣсь идетъ рѣчь. Иванъ Карам-
зовъ, какъ и отецъ его, мочится до мозга костей. Онъ не то, что
не можетъ, онъ не хочетъ ^{какой-нибудь} растворитъ свою личность
въ божией идее, слитъя съ „первосудикомъ“, природой и т. п., какъ ре-
комендуютъ философы. Хотя онъ и получилъ очень современное
образование, но онъ не боится предъ лицомъ всей философской науки
предъявить свои требованія. Не боится даже, что его сильчаютъ
(и за одно уже отвергнутъ) съ его отцомъ. Прямо самъ и го-
воритъ: „Дедоръ Павловичъ, папенька, балъ поросенокъ, но мне
правильно“¹⁾. А самъ Дедоръ Павловичъ, поросенокъ-тъ, от-
лично видѣвшій и знавшій, какъ о немъ думаютъ люди, тотъ
„молчалъ“, что хотъ онъ и пожилъ достаточно, но все же
той жизни мало. Онъ хочетъ еще и себя безсмертнѣе. Вотъ
разговоръ его съ дѣтбми:

„Иванъ, говори, есть Богъ или нѣтъ...“

— Нѣтъ, нѣтъу Бога

— А леина, есть Богъ?

— Есть Богъ.

— Иванъ, а безсмертіе есть, ну тамъ какое-нибудь, ну, хотъ малень-

¹⁾ Братъ Карамасова, 702

нос, малюсенькое?

- Кто-то и безсмертен.

- Никакого?

- Никакого.

- Но есть совершеннойший нуль или никто? Может быть кто-то
какое нибудь есть? Все же ведь не никто.

- Совершенной нуль.

- Алена есть безсмертен?

- Есть.

- И Бог и безсмертен?

- И Бог и безсмертен.

- Так! Вероятно, что прав Иван...

Как видите, яблоко не далеко упало отъ дерева. И Федора
Павловича Карамазова Достоевский наделяет способностью
испытать „всепустоту“. Вряд ли разговор, согласитесь, характер-
нейший. „Вероятно, что прав Иван“, ~~который поставил это~~
только объективное заключение, которое всегда навязывалось са-
мому Достоевскому и которого он так боялся. Но здесь важно и
то, что Достоевский намерен искусственно отделить Федора Павловича
читателю, любить быт, памятая, что, если и есть безсмертен, то
во всяком случае не для такой потани и что поврние пойдется
какой нибудь такой закон, который положит конец этому отбра-

тильскому существованию. Но Достоевский о взглядах читателей
мало заботится. Ракитина он держит за версту от своей
вашей идеи, а старика Карамазова попускает к ней, прини-
мает его, хоть отчасти, в почетное общество каторжников.
Соответственно этому все безобразное, отвратительное, трудное, мучи-
тельное, словом все проблематическое в жизни находит себе
страстную и талантливую вообразительность в Достоевском. Он
словно нарочно разбавляет на наших глазах дарование, красоту,
молодость, невинность. В его романах больше ужасов, чем в дей-
ствительности. И как мастерски, как правдиво эти ужасы описаны.
У нас нет ни одного художника, который умел бы так раз-
вѣять о горькой обиде и унижении, как рассказывает Досто-
евский. В исторіи Грушеньки и Настасьи Филипповны книга
также не поражает читателя как сдѣланной ~~этой~~ этими бѣд-
ными женщинами повесть. „... Пріѣдетъ вотъ этотъ, рассказываетъ
Настасья Филипповна въ Тюрьму, ... опозоритъ, разобидитъ, разна-
ситъ, развратитъ, увидитъ — такъ тысячу разъ въ прудъ хотѣла ки-
нутьса ... А сколько вѣнесла Грушенька, вспоминая свою обиду.“ Вотъ
теперь, говоритъ она, пріѣхалъ этотъ обидчикъ мой, сына теперь и жду
вѣсти. А знаешь, чѣмъ мнѣ больъ этотъ обидчикъ? Нѣтъ чѣмъ тому
казады забѣл меня сюда Кузьма, — такъ и сына бывало, отъ людей
хорошихъ, чѣмъ меня не видали и не слыхали, тоненькая, плутовка

Июль, 184.

сими да родано, ночей на прочетъ не сплю - думаю: и чужъ грѣхъ ои
 теперь мой обидчикъ? Слышала, должно быть съ другой надо мной, и
 чужъ я ему его, думаю, только бы увидѣть его, встрѣтитъ когда; то
 чужъ я ему отплату, чужъ я ему ему отплату! Ночью въ темнотѣ
 тѣ родано въ подушкѣ и все это передумано, сердце мое раздираемо
 парочко, злобой его утѣляю. "Чужъ я ему ему, чужъ я ему ему отплату"
 Такъ бывало и закричу въ темнотѣ. Да какъ вспоню вдругъ,
 что ничего то я ему не сдала, а ои то надо мной слышала те-
 перь, а, то есть бытъ и советамъ забавы и не покинуть, такъ кинуся
 съ постели на полъ, залюсь безсильною слезой и трясусь - трясусь до
 разсвѣта. Поутру встану злые собаки, рада все свѣтъ проглот-
 тить. Потомъ, что ои тѣ думаю: стала я капиталъ ко-
 нить, безъ жалости сдѣлала, раболѣпна - поумиала, тѣ ду-
 маю, а? Такъ вотъ кѣмъ ои, никто того не видитъ и не
 знаетъ во всей вселенной, а какъ сойдеть мранъ ночью, все
 такъ-же, какъ и дѣвчонкой, пятъ лѣтъ тому, лежу иной разъ
 срежусь зубами и всю ночь тлать: "Чужъ я ему ему, да чужъ я ему
 ему!" думаю. Слышала тѣ все это? "Вотъ какъ рождаются
 убѣжденія у героев и героинь Достоевскаго. Я не говорю чужъ о
 Раскольниковѣ, Карамазовѣ, Кириллѣ, Матѣ... Все они испы-
 тали неслакакии униженія: какъ художествѣ всену вѣт алкива-
 ютъ ^(подробности) Долгорукаго ^(изъ игорнаго дома), какъ оплеваваютъ подполковника

Братья Карамазовы, 720

человѣки! Достоевскій собираетъ все, имѣющееся въ его распоряженіи
средствъ, чтобы вновь съ невидомой силой ударить по сердцу чита-
теля, но на этотъ разъ уже не затѣмъ, чтобы читатель сталъ
добрымъ и великодушнымъ соглашаясь по воскресеньямъ и въ праздни-
чные дни называть послѣдняго человека своими братьями. Теперь
задача другая. Теперь нужно варварить отъ науки, отъ „заики“,
какъ выражаются Ракитинъ и Дмитрій Карамазовъ признавъ
тѣ благополучные устроѣнства болонщизма, будущее наше го-
ловѣ, прогресса, идеи и т.д. словомъ все то, чѣмъ до сихъ поръ
оправдывались гибель и позоръ отчужденныхъ людей — не мораль раз-
рѣшающая главную проблему жизни. И точно — въ виду изощренной
Достоевскимъ дѣятельности едва ли даже у самого зава-
таго и убежденного позитивиста, у самого „хорошаго“ человека
хватитъ да совѣсти выполнить о своихъ идеалахъ. Когда столько
оконеченной воли „доказываетъ“ приводитъ къ трагедіи, когда борь-
ба одинокаго головѣедаго существа превращается въ некрыва-
ющую пѣту, ни у кого не хватитъ безстыдства говорить всео-
бычными словами. Умоляютъ даже и варварскихъ душекъ... Но тутъ мы
сталкиваемся уже не съ угнетеніемъ позитивистовъ или идеали-
стовъ, не съ философскими теоріями, не съ угнетеніемъ системъ.
Людей можно образумить, философовъ и моралистовъ можно
сдѣлать въ нихъ погоню за синтезомъ и объединеніемъ въ сис-

тсму указывать на судьбу трагических людей. Но, что подра-
 зует со жизнью? Какъ заставитъ ее считаться о Раконьнико-
 вичи и Корамазовичи? У нея ведь ни стыда, ни совести, ни жа-
 лости нетъ. Она равнодушно глядитъ на человеческую комедию
 и человеческую трагедию. Этотъ вопросъ переводитъ насъ отъ фи-
 лософii Достоевскаго къ философию его продолжателемъ Кнута,
 впервые откровенно вставившей на своемъ знамени стра-
 нное слово: апоэозъ жестокости.

XVIII

Мы продолжимъ исторiю перерождения и вырождения Достоевскаго.
 Въ основанiи германъ она сводится къ попытке реабилитации и ра-
 поположенiю человека. Если мы теперь обратимся къ сочиненiямъ Кнута,
 то, не смотря на то, что съ вѣншей стороны они такъ мало по-
 дожи на то, что писалъ Достоевскiй, мы прежде всего найдемъ въ нихъ
 несомнѣнное и ясно выраженное слѣдъ тѣхъ настроенiй и переживанiй,
 которая насъ поразили въ творчестве этого послѣдняго и Кнута блг
 въ молодости романтикомъ, заоблаченнымъ мечтателемъ. Въ этомъ гово-
 ритъ намъ не только первое его произведенiе — „Рожденiе трагедiи“, но
 и даля и сѣмѣи „Моменты“, какъ воспитатель и „Ватеръ въ
 Голландiи“, непосредственно припоминающiй къ „Монхелихъ, Аллентерк-
 сѣи“, сочиненiю, въ которомъ вы въ первый разъ въ жизни, еще рождѣнiи ости
 рождѣнiи, позволяете себѣ взглянуть на миръ и людей собственными глазами.

За то́мъ опять ему пришлось расплатиться дорогой цѣной. Боле-
шинство его друзей, въ томъ числѣ и самъ Вагнеръ, отвернулись отъ не-
кого изъ нихъ, какъ это всегда бываетъ, не заинтересовались причиной
внезапнаго перелома, происшедшаго въ души Китице. Друзья лишь по-
няли крикъ, что онъ „измѣнился“ прежними убѣжденіями и намы-
сли, что этого вполне достаточно, чтобы осудить человека. Все знали,
что Китице тяжело и мучительно болеть. Но и въ этомъ не видѣ-
ли никакой вины обстоятельству. Вагнеръ, еще недавно превозно-
сившій литературную грядущность Китице, по прочтеніи „Mensch-
chen, Allzumenschliches“ такъ вознегодовалъ, что не считая даже и убѣжи-
на, попытаться усовестить своего молодого друга и ученика. Онъ просто
замолчалъ и уже до самой своей смерти не возобновлялъ сношеній
съ Китице. Такъ что, въ самую трудную минуту своей жизни, когда
человѣкъ, по общему мнѣнію, наиболѣе всего нуждается въ правдой-
ной поддержке, Китице оказался совершенно одинокимъ. Правда,
общее мнѣніе въ этомъ слугаетъ, какъ и во многихъ другихъ, под-
видомъ несомнѣнной истины преподноситъ намъ несомнѣнное
заблужденіе. Въ этой стѣнѣ только трудная минута жизни поддержи-
ваютъ обаятельно ничего не даетъ и не можетъ дать человѣку
и лишь тѣлотѣ его казываются требованіемъ откровенности
и признаній. Въ такіе моменты лучше всего отшатнуться одному.
Хватитъ силъ вынести свое несчастье — вѣдь же подвигателямъ

Не хватает - все равно никакой Вагнер не поможет. Я говорю, конечно, не оъ общеповсемъ общепринятыхъ трудностей, при кото-
рая всегда два уха лучше, чѣмъ одинъ, а о тѣхъ случаяхъ, когда,
по выражению Достоевскаго, земля трещитъ подъ ногами. А въоди
въ жизни они бываютъ гораздо чаще, чѣмъ въ романахъ. Тутъ
друзья ^{тѣмъ} ~~никому~~ не могутъ помочь. Но друзья Китише и не думали
помогать ему. Они стали его врагами и, не желая дать себѣ
трудъ понять человека, мстили ему презрѣніемъ. А по словамъ
Китише, на тѣхъ разъ особенно заслуживающимъ говорить, през-
рѣніи друзей гораздо труднее вынести, чѣмъ собственное през-
рѣніе ¹⁾ къ себѣ. И точно, какъ бы человекъ не презиралъ себя,
въ глубинѣ души его всегда живетъ еще надежда, что онъ все
еще выйдетъ благо изъ своего труднаго положенія. Приговоръ
да людей безпомощныхъ, неумныхъ, окончателенъ. Это проситъ оу-
достоитъ се тѣмъ, что въ никогда уже вновь не воскреснетъ
его...

По собственному признаніи Китише, „Мопенгауеръ, какъ вос-
питатель“ и „Вагнеръ въ Байреутѣ“ были имъ написаны,
когда онъ еще не говорилъ ни въ философію Мопенгауера, ни
въ искусство Вагнера. А между тѣмъ оъ тѣхъ статьи - сплошное
попугиство илз. Для чего же понадобилось такое притворство? Китише
объясняетъ это, прощаясь со своими учителями, онъ хотѣлъ баравить

¹⁾ Китише, томъ II, стр. 376.

имъ своею признательностью и благодарностью за прошлое. Я полагаю, что читатель найдетъ такой способъ выражения благодарности не заслуживающимъ одобрения: нужно умиять жертвовать ради истины своими друзьями и учителями. Впрочемъ, и сами Нитше держались такого же мнѣнія, если же онъ все таки вступается въ защиту сторонниковъ Мопенгауера и Вагнера, хотя знаетъ, что пришло время проститься съ ними, то на это у него были иныя, можетъ быть менѣе красивая, но несомненно болѣе глубокая и серьезная причины. Очевидно, что онъ было не въ учителяхъ, а въ ученикахъ: Нитше-ба, пожалуй и менѣе церемонно распростился бы съ руководителями своей юности, если бы самъ твердо зналъ, куда ему идти отъ нихъ. Мы видимъ, что признательность и благодарность не помогли ему въ послѣдствіи написать резкую статью о Вагнерѣ, не помогали также называть Мопенгауера „старымъ драматическимъ монетчикомъ“. Но это уже было подъ конецъ его литературной деятельности, въ 1886-88 году. Въ 1875 году онъ еще не смѣлъ думать, что порождающіяся въ его душѣ мысли и настроенія, еще неопредѣленная и капризная, возможно будутъ противопоставить отройной и законченной, уже нашедшей себя признаніи философіи Мопенгауера и прогнѣвающей на всю Европу славы Вагнера. Ему казалось тогда, что самое ужасное, что можетъ случиться съ человекомъ — это разрывъ съ учителями, изъ него на

иррациональных вѣро и убѣжденій. Онъ думалъ, что убѣжденія од-
 нажды на всю жизнь получаютъ человѣкомъ изъ руки достойнаго
 учителя. Хотя онъ и много читалъ, но ему и въ голову не при-
 шло, что такіе, полученные готовыми отъ другихъ людей убѣжденія
 меньше цѣнны, чѣмъ собственныя, выработанныя своими испані-
 ями, своими страданіями взглядъ на жизнь. И. о., если хотѣте, онъ
 зналъ это. Даже самъ высказывалъ въ этомъ смыслѣ, ибо въ кни-
 гѣ, которую онъ читалъ (хотѣлъ бы у Шопенгауэра) объ этомъ не
 разъ и подробно говорится. Но, когда настѣупилъ „опять“, когда
 пришла ксизвѣстность, ^{какъ и все люди въ его положеніи} ~~ни~~ ^{не} догадался, что это-то, о чемъ
 говорится въ книгѣ, онъ лишь съ ужасомъ почувствовалъ, что
 въ душѣ его зашевелилось что-то неслыханно безобразное и ужа-
 сное. Въ своихъ мысляхъ, въ своей безнадежности онъ не узналъ про-
 лава „страданій“, которое онъ слышалъ за Шопенгауэромъ благо-
 словенно и кричалъ въ своемъ первомъ произведеніи — „рожденіи
 трагедіи“. Онъ такъ мало казался себѣ похожимъ на героя, на
 одного изъ многихъ интересныхъ героевъ кино, въ родѣ Платейзера,
 такъ красиво позировавшихъ въ оперѣ Вагнера. Въ его полюб-
 вленіи не было и сегода той трагической красоты, которой онъ при-
 бавлялъ любоваться въ произведеніяхъ древнихъ писателей. Онъ не похи-
 тилъ съ небесъ для блага человечества огня. Онъ не разгадалъ, какъ
 Эдипъ, загадки Сфинкса. Онъ даже не былъ въ гротѣ Векеръ.

наоборотъ, когда онъ отягивался на свое прошлое, оно представлялось
ему непрерывнымъ рядомъ позорныхъ унижений. Вотъ въ какомъ
свѣтѣ рисуется ему соотношение искусства т. е. исторіи его отноше-
ній къ Вагнеру: ~~в-а-о~~ „въ одной партіи, говоритъ онъ въ эссеизмъ,
называющемся „мученикъ противъ воли“, бѣлъ человекъ, слишкомъ
робкій и трусливый, чтобы противостать своимъ товарищамъ;
имъ пользовались для всевозможныхъ цѣлей, отъ него добивались
чего угодно, такъ какъ онъ болше, чѣмъ имѣть, боялся дурного
мнѣнія своихъ единомышленниковъ; эти бѣла жалкая и слабоду-
шная. Товарищи понимали его и пользовались указанными его
свойствами, считали изъ него героя, а по дѣлу концы давали и мучени-
ка. Хотя слабый человекъ про себя всегда говорилъ „нѣтъ“, но
вслухъ онъ произносилъ „да“, — давая на эсэизмъ, когда уни-
жалъ за убѣжденій своей партіи: по дѣлу же стоялъ одинъ изъ
его старыхъ товарищей, который такъ тиранизировалъ его въ мо-
лодость и словомъ, что онъ и въ самомъ дѣлѣ достойно встрѣ-
тилъ смерть и съ тѣхъ поръ считается мученикомъ и вели-
кимъ характеромъ.“¹⁾ Если въ этихъ словахъ резюмируется „прошлое“
Нитше, то можно ли повторить, что при прощаніи съ этими чело-
веками не оставалось чувства благодарности и признательности?
Не възражали-ли, что стоитъ „Вагнеръ въ Байрнѣ“ и „Шопенгау-
еръ, какъ воспитатель“ бѣли написана лишь потому, что Нитше

все еще продолжают чувствовать на себя взгляд Вагнера (а мы
 имеем даже и не одного Вагнера) и не в силах быть ^{бороться} 'варварскими'
 от его гипнотизирующего влияния. Да и как бороться? Для этого
 прежде всего нужно было варварам из себя убавленіи пьесы, назвав
 свое прошлое настоящим именем, признаться, что изстари кри-
 тики, которых они привлекли считали диками и недостойными
 людьми, были права, называя его, и теряли упрямый лангет
 "Вагнера". Иными словами нужно отрезать себя на существовании
 "настоящего человека". На такой ужасный шаг человек не сразу
 решается. Критики все еще надеются, что может быть еще
 польза от своей партии, хотя бы только, что те словаки будут
 поддерживать ее принципы и стремления. По крайней мере
 вопрос имя будет сохранено, но крайней мере никто не узнает,
 как они отбратительно и постыдно несутся. Это чего-нибудь
 стоит. Критики более гордятся человеком. Они не хотят вы-
 ставлять на показ свои раки, они хотят скрыть их от по-
 стыженных взоров. Для этого пришлось, конечно, притворяться
 и лгать, для этого пришлось писать гордые хвалы своим
 Монизатору и Вагнеру, которых в душе они уже почти
 ненавидят, ибо считали их главными виновниками своего
 страдания несправедливости. Но что сказать, кому нужна была его прав-
 да? И что мог бы он рассказать, если бы хотел побороть

правду? Признаться откровенно в своей негодности? Поразило ли
ло на счет негодных людей? И разве такое признание могло
кого-нибудь поразить или заинтересовать? Вряд, в сущности, ничего
особенного и не произошло. Никто не думает о себе, что он гостимый
человек, предназначенный для важного и значительного дела.
Оказалось, что он ошибся, что он был ничтожеством и жалким
человеком. Такие случаи часто случаются в жизни. В них никто
и не вспоминает. Но, например, самому же Никите при-
лось убедиться, что Давид Итраусс, почитавшийся всеми ин-
тели за великого философа и образцового стилиста, на самом
деле лишь „образованный экивистер“, плохо владеющий обиход-
ными литературными языками. Разве кому-нибудь, ~~от~~ и самому
Никите, это откровенно поразило, ужаснуло? Нет, конечно. На
земле и без Давида Итраусса осталось достаточно прилично-
го философов и образцовых стилистов. Если бы Никита объек-
тивно рассудил, то мог бы легко убедиться, что и его собствен-
ный случай не имеет особенного значения. А если бы он к то-
му же еще припомнил основные положения философии Шпенглера,
то мог бы вполне утешиться в своей несчастью. Вряд, во-
„
ля осталась неизменной“, стоит ли думать о том, что инди-
видуум, т.е. один из миллиардов случаев ее объективной
оказался развешенным? Но obviously „основная посылка

философий "мгновенно испаряются из палаты, какъ туманъ
человѣки серьезно сталкиваются съ жизнью. Если Нитше и вспоми-
налъ Шопенгауэра, то не затѣмъ уже, чтобы искать у него
утѣшеній, или поддержки, а чтобы предать его проклятiю,
какъ своего злѣйшаго врага. " Такое слово я слышу только
врагамъ: что значитъ всякое человѣкоубiйство въ сравненiи
съ тѣмъ, что во сдѣлали мы! Но что во сдѣлали мы - я уже
вѣднoго убiйства; все отняли у меня невозвратно: такъ го-
ворю я самъ, враги мои. Заубили мою видимость и милая чу-
деса моей юности. Все отняли у меня товарищей моихъ, бла-
женнаго духовъ. Въ память о нихъ я возлагаю здѣсь этотъ
вънокъ и это проклятiе. Это проклятiе вамъ - мои враги ")
Эти слова Заратустра относятся ^{къ} Вагнеру и Шопенгауэру.
Нитше проклинаетъ своихъ учителей за то, что они погуби-
ли его юность.

XIX

Но, спросимъ опять: почему *so sehr Läst*? (что такое случилось?
Нитше погибаетъ?! Развѣ это достаточное основанiе, чтобы
проклинать философию Шопенгауэра и музыку Вагнера? Если мы
вспомнимъ первая произведенiя Нитше, если мы прислушаемся
къ "учению" Заратустра о сверхчеловѣкѣ, то намъ покажется,
что въ сущности Нитше рѣшительно не было никакой нужды

такъ вочноватѣсь. Не удалось одна жизнь — жить въ томъ же самомъ
бродѣ. Природа производитъ индивидуумы миллионы и ея
задача не въ сохраненіи и развитіи отдѣльных экземпляровъ, а
въ совершенствованіи вида, порока. Такъ говорилъ Моленгацера.

Такъ или почти такъ говорилъ и Заратустра. Это о томъ, что
погибли ипохейскія мечтанія одного профессора? Развѣ тело-
вѣстеству это грозитъ какой нибудь опасность?

Ничѣмъ отъ этого не понимая, что приняты или отъ Молен-
гацера философскія положенія заключаютъ въ себя его приговори.
Если бы онъ хотѣлъ вправу блѣзъ считать себя приверженцемъ че-
ловѣчества! Но, въ свое оправданіе, онъ не могъ даже сослаться на
свои необыкновенныя дарованія. Какъ видно изъ приведеннаго въ пред-
дущей главѣ озоризма „музеникъ по неволѣ“, въ ту пору онъ самъ
видѣлъ въ себѣ лишь жалкаго прислушника Вагнера. Зачѣмъ же су-
ществуютъ такому ничтобѣстеству? Не лучше ли тихо и незаметно
уступека, уступить мѣсто въ жизни большъ достойнымъ предше-
вателямъ челоуѣческой породы? Теперь именно Ничѣмъ представлялся
случай осуществитъ высшія требованія общепринятой правдивости,
взятая подъ свое покровительство философія Моленгацера, и дока-
затъ не на словахъ, а на дѣлѣ, что идея самопожертвованія и самоот-
реченія не пустой звукъ, а великая сила, способная воодушевить челоуѣ-
ка и дать ему силу покорно воплести самую музическую суд

бу. Но Нитше поступил как раз обратно тому, чего от него требовали его прежние "убождения", полученная от великого воспитателя, Шопенгауэра. Вмѣсто того, чтобы покориться и радоваться, во своих несчастиях, проливать слезы и бояться передаться человечеству — то^е ной больше он соотвѣтствовало вразумлению въ "роковой трагедии" ⁴убождения — Нитше прощает своей судьбой проявить справедливости и истинности замысла, намъ тѣмъ же и столько разъ блещущие оправданиями учениями умами человечества, идеалами. Уже въ "Мен-
Schelken, Allzumenschlichen" ⁵он поднимаетъ вопросъ о "цѣлостности" ⁶человеческихъ мотивовъ, о въ истинности состраданій, самоотреченій, самопожертвованій, которые именно Шопенгауэръ такъ долго золотилъ, обожествлялъ, опотусторонивалъ (*verfeinert*), пока они, наконецъ, не стали для него цѣлостными *an sich* ⁷. И для разрѣшенія этого вопроса онъ уже не обращается, какъ прежде, когда писалъ свои первыя произведенія, къ философии, потѣмъ, проповѣдникамъ, словамъ и учениямъ, предававшимъ имъ людямъ изъ поколѣній въ поколѣнія. Онъ чувствуетъ, что во всемъ этомъ онъ не найдетъ отвѣта для себя, словно весь учитель человечества соборился молчать о томъ, что для него важнее всего. И о своихъ собственныхъ сочиненіяхъ, въ которыхъ онъ когда-то вступалъ съ такою гордостью и уверенностью въ знающаго и всепонимающаго судьбу, онъ долгое время не смѣетъ обмолвиться ни однимъ словомъ. Только въ послѣдствіи, черезъ много лѣтъ

онъ углубляетъ въ предисловіи или, впрямь, въ послѣсловіи къ „рожденію трагедій“ попытку оцѣнить свои первой литературной опытъ. Устремлено устремлено чловѣческое сердце! Не смотря на то, что эта книга кажетъ ся ему во многихъ отношеніяхъ дурно написанной, не смотря на то что онъ превосходно видитъ все ея недостатки („... по книжкѣ, въ которой волнись мой юношескій палецъ и подозрительность, что за невозможная книга должна была вырасти изъ такой юношеской задачи!), онъ не можетъ не питать въ ней отеческой любви. А между тѣмъ онъ, собственно говоря, онъ долженъ былъ бы ее ненавидѣть такъ же, какъ сочиненіи Мопсанауэра и мюзому Вагнера. Она въѣвъ была наиболѣе почтенъ враженіемъ той отчужденности отъ жизни, той безразличности, словомъ того романтизма, который, благодаря специфически бранденбургскому воспитанію Книтце, только всецѣло въ такой ранней молодости овладѣлъ его доверчивой душой. И только „рожденію трагедій“ — вся первая произведеній Книтце, вплоть до „Меленсиски, Allzumenschliche“ по той же причине должны ^{бы} были быть ненавистны или автору. Въ них — романтизмъ чистѣйшей воды т.е. болѣе или менее менше трагическая игра готовыми поэтическими образами и философскими понятіями. Для молодого Книтце слово Мопсанауэра законч. „Я принадлежу, пишетъ онъ въ 1875 году, когда ему уже было тридцать лѣтъ, и когда действительность стала уже представлять къ нему свои первая грозныя требованія, ко числу только читателей

Мопенгауэр, который, прочитав первую страницу его сочинений, уже
 наговорил знает, что прочтёт все, что он писал и вообще внима-
 тельно прислушивается к каждому его слову. Он сразу приобрёл мо-
 говорие и теперь он не меньше, чем было девять лет тому
 назад. Я покинул его, как будто он писал парочку для меня
 Как видите, Питиш плохо понимает свои разговоры. И вообще
 „говоря“ нужно обращаться осторожно — Мопенгауэр он
 может всё идти в учителя и пошептать уже в виду таких
 вопросов, которые у него идут туда и откуда молодому
 человеку, даже даровитому, обыкновенно очень мало дано. Не луч-
ше обстоять дано и с музыкой. И Ватерс, с его операми, она-
ется для несозревших людей, принимая их только по времени во-
дит в учащих и недоступных их сердц. Впоследствии сам
 Питиш вплоть до осно созна это. „Я был влюблен в искусство,
пишет он, с истинной страстью и в мои концы во всех
существующих не видать ничего, кроме искусства — в те годы, когда
обыкновенно иная страсти волнуют душу человека“ 2)

Впрочем, собственно говоря, разговоры к ужению Мопенгауэра и
 увещания Ватерс вовсе не всегда так фатально убийственны
для человека. Если бы жизнь Питиша прошла без случайных
осложнений, то, может быть, он до глубокой старости сохранил
бы в своей душе чувства любви и преданности к своим учителям.

Романтизм далеко не всегда уродует и коверкает человеческую судьбу. Наоборот, часто он счастливо оберегает людей от столкновения с действительностью и способствует сохранению на долгие годы того прекрасного, той ясности и святости взглядов, того доброго в жизни, которое мы вообще всего ценили в жизни. И китише мог бы до конца свой своим развивать те идеи, которые положены им в основание „рождения трагедии“. Он мог бы учить людей мириться с ужасами жизни, мог бы, как греческий его предшественник, прославлять „философа, художника и святого“. И на-верное бы енисеец себе великое удовольствие среди современников и славу в потомстве: ведь называет же пр. Рилье его „рождение трагедии“ гениальным произведением. Правда, может быть эта отзыв к немецкому профессору позволительно видеть в некоторую политическую хитрость. Может быть пр. Рилье, не находя удобным все сплошь порицать в китише и желая иметь вид безпристрастного и справедливого судьи, предпочитает пренебреженно похвалить эту книгу китише, которая наиболее похожа на то, что пишут все, с тем, чтобы развязать себе руки и уже потом свободно нападать на остальные его произведения. Но все же несомненно, что если ^{бы} китише продолжал писать в духе „рождения трагедии“, то ему пришлось бы лишь настолько отделиться от общепринятых убеждений и взглядов, на сколько это разрешается

существуящими представлѣніями о дозволенной и желательной оригинальности. Въ дѣлѣ, конечно, въ началѣ своей писательской деятельности имѣлъ и противниковъ, но по дѣлу концы достигъ дѣла той виртуозности изложеній, которая покоряетъ и враговъ и наиболѣе беспристрастно чужбому радостное убавленіе окружающихъ его близкихъ. Несомненно, что при такихъ обстоятельствахъ Нитиш писательское, и пр. Риль могъ бы съ спокойной совѣстью назвать весь его произведеній гениальными.

Но судьба рѣшила иначе. Въ виду того, чтобы представить Нитиш спокойно заниматься будущими всего человечества и даже всей вселенной, она предложила ему, какъ и Достоевскому, одинъ маленький и простой вопросъ — о его собственномъ будущемъ. И прокиновский философъ, безтрепетно глядящий на участь всего міра, смутился и потерялся, какъ заблудившееся въ лесу дитя, предъ той несложной и почитаемой малой задачей. Въ этомъ дѣлѣ его прошлая уверенность оказалась для него бесполезной, даже тяжкой. „Все торжественное въ противоломъ, пишетъ онъ. Имѣла такая?“ „А между тѣмъ это торжественное“ было то, чѣмъ онъ жилъ до сихъ поръ, что онъ считалъ величайшей мудростью и въ распространеніи чего видѣлъ свое providенціальное назначеніе. Теперь это нужно просить. Но, что же тогда останется? Какъ взглянуть въ лицо всему народу, что сказано Ватнеру, какъ дѣлать насидѣть съ самимъ собой? Къ которому времени Нитиш

власть попутки прикрепить свою новую действительность к ста-
рой, убедительной. Как уже указано, он пишет статьи о Валле-
ри и Мопенгауэри, надеясь, что привлекла возьмет свои свои
свойства к такой необходимой ему теперь второй в идеала. Но раз-
считывал был ошибочен. Притворное суждение и для человека в общи-
нственном обстоятельстве - дело очень непростое. Для Китингса, в са-
мом положении оно обратилось в постоянную пятку. Вых-
одить, что жить по старому невозможно. И зная, что его ждет
зная, что друзья и, главным образом, Валперт никогда не про-
щают ему измены, он отвернулся от старого доброты и пошел
по новому пути, хотя и новый путь ничего, кроме безопасности, не-
приятности, одиночества и вечно одиозности, ему не сулил...

XX

До сих пор не нафран

И с тем же вопросом он на новый путь? Что имел он в своем пред-
ставлении? Ответ заключается в одном слове: ничего. Ничего,
кроме обратительных физических страданий в настоящем, позорных
унизительных воспоминаний о прошлом и безумного страха перед
будущим. У него не могло быть никакой надежды, ибо на это спосо-
бен разбитый, больной человек, потерявший лучшие годы жизни на
безполезной, ненужной, ничего ему не принесшей заботе? До Золотых
как и наш Илья Муромец, сидит сидит, созерцая чужие идеалы.
Теперь можно встать и идти - но ноги отказываются служить, а